



ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

1988

შ.ბ. ჯანაშია
 ე. ბენაშვილი
 პ. ბაგ
 ჯ. შავერძია -

12

В 1989 году журнал «Литературная Грузия» предполагает напечатать:

Прозаические произведения Григола Робакидзе «Енгед», «Защитники Грааля», «Змеиная кожа», Вахтанга Челидзе «Исторические хроники», а также произведения Ч. Амирэджиби, Г. Панджикидзе, Р. Джапаридзе, Р. Кобидзе, С. Пайчадзе, детективный роман Буало-Нарсежака «Среди мертвых».

Стихи Ир. Абашидзе, Дж. Чарквиани, О. Чиладзе, Ш. Нишнианидзе, М. Мачавариани, М. Поцхишвили, Х. Бериулава, П. Флоренского.

Читателям будут предложены интересные публицистические и критические статьи, освещающие актуальные проблемы современного литературного процесса, статьи из литературного наследия, неопубликованные письма...



1988

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ

Орган Союза писателей Грузии

ИЗДАЕТСЯ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- ВАЛЕРИАН ГАПРИНДАШВИЛИ. Стихи. Перевод Михаила Синельникова . . . 3
- МИХАИЛ КВЛИВИДЗЕ. Когда не писались стихи . . . 5
- НИКОЛАЙ КВИЦИНИЯ. Стихи. Перевод с абхазского Марины Кудимовой . . . 29
- АЛЕКСАНДР САМСОНИЯ. Дождливый Мзianети. Рассказ. Перевод Наны Пхакадзе . . . 32
- ВИТАУТАС РУДОКАС. Из книги «Древо жизни». Перевод с литовского Осипа Спасова . . . 79
- ЭДУАРД АНТИДЗЕ. Последняя коза. Рассказ 82
- ЛЮБОВЬ ЯКУШЕВА. Стихи. Вступительное слово Джансуга Чарквиани. 87
- ГУРАМ КЛДИАШВИЛИ. Стихи. Перевод Бориса Хлебникова 91
- ГРИГОЛ РОБАКИДЗЕ. Джуга, или По следам Достоевского. Перевод с немецкого Сергея Окропиридзе 94

12

ДОКУМЕНТЫ, ПИСЬМА, ВОСПОМИНАНИЯ
ЦИАЛА КАРБЕЛАШВИЛИ. «...Говорю и пишу, что подсказывает мне сердце» . . . 104

КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ЛИНА ХИХАДЗЕ. Гумилев и Кавказ . . . 111
РОКСАНА АХВЕРДЯН. Вдохновенный великой поэмой . . . 123

ЛИЧНОСТЬ И ВРЕМЯ

СВЕТЛАНА ДЖАПАРИДЗЕ. «Искусство там, где сердце и душа» . . . 134
НИКОЛАЙ ЗАЙЦЕВ. «Певец Колхиды» . . . 153

К 160-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Л. Н. ТОЛСТОГО

БОРИС СВАДКОВСКИЙ. «Как врач, наблюдавший больного...» . . . 174

ИСКУССТВО

ЕЛЕНА СЕХНИАШВИЛИ. Творцу не бывает легко . . . 193

ИННА ДИВНОГОРЦЕВА-ГРИГОЛИЯ. Создатель современных форм грузинского шрифта . . . 207

М. И. ЗЛАТКИНУ—90 ЛЕТ

Соучастник рождения книг . . . 215

КУРЬЕЗЫ, КУРЬЕЗЫ

Трудно переубедить! . . . 217

Мы защищаемся! . . . 217

ХРОНИКА

АННА ФАЛИЛЕЕВА. Блиц-интервью с Питером Бруком . . . 152

Новинки грузинского кино . . . 219

Содержание журнала «Литературная Грузия» за 1988 год . . . 220

Валериан ГАПРИНДАШВИЛИ

Али Арсенишвили

Юность, неужто прошла ты, промчавшись бурливо,
И молодыми не будем?.. Далеко, далече
Эта Москва и студенчество, книги и пиво,
Лирика — снег, осыпавший двух ангелов плечи.

Милый Али! Я уверен — все в памяти живо:
Зимние улицы, стужа, случайные встречи,
Власть одиночества, жизни неведомой диво...
Но вдохновенье венчало и споры и речи.

Разве забуду твою комнатенку на Пресне,
Сладость бессонницы, жар чаепития с хлебом!
В море стихов мы качались, носили нас песни!

Сажай подернутый, был этот мир или не был?
Нет, помним все... Поцелуй в снегах, осиянный
Бронзовый Пушкин, Неждановой голос желанный.

Тициан Табидзе

Мессия для тебя — измученный Пьеро.
Подобен стих-джейран шута лихой проказе.
Сонетом увлечен, ты предал мухамбази,
И, как пиявка, льнет к поэзии перо.

Купели грезящей лазурь и серебро —
Созвучий слезы льешь, ваяешь ты в экстазе
Рукою женственной лозы лиловоглазье,
А на душе — огня ордынское тавро.

В зеркале огненном твоя встает Халдея,
Взирает на тебя из дыма твой двойник,
И караван теней приблизился, твердея.

И поколений сонм у жарких скал возник,
Прародину окинь всей синью глаз, мечтая,
Чтоб сказка не ушла, сияньем залитая!

Мамиа Гуриели¹

Умолкшие стихи — я в желчном их дурмане;
Кутила Мамиа — дивлюсь его мечтам.
Вот — собственный его и вечный макадам,
Судьбинный и глухой, смертельный Балахвани².

Здесь оргия была, и все размылись грани,
И в серой хижине в рассветный тусклый миг
Неспящий человек печален, бледнолик,
И тающая плоть милей алмазной дани.

Чохотка в дом вошла, и принимает греза
Поэта в свой пожар из рук туберкулеза,
И кашель громовой — как отблески костра.

На помощь не спешит в пустыне голубица,
Придет закрыть глаза Верленова блудница,
Его зловещих язв ужасная сестра.

Перевод Михаила СИНЕЛЬНИКОВА

¹ Мамиа Гуриели — грузинский поэт.

² Балахвани — район Кутаиси.



КОГДА НЕ ПИСАЛИСЬ СТИХИ...

ХЛЕБ И ОРУЖИЕ

Тбилиси в годы войны не испытал ни нашествия врага, ни налета вражеских самолетов. В сознании старых тбилисцев война связана с голодом, трудностями, которые не обошли ни одну семью. В магазинах не было продуктов, а на базаре все стоило очень больших денег. Цены росли изо дня в день, всю бесчинствовали перекупщики. Они закупали продукты в деревнях и перепродавали их втридорога в городе. И все равно горожане раскупали все без разбору.

Рабочие питались в заводских или фабричных столовых, которые снабжались лучше, нежели учреждения. Служащим жилось гораздо труднее.

В городе велась усиленная борьба со спекуляцией: на железнодорожных станциях и подступах к городу днем и ночью дежурили сотрудники милиции, останавливали машины, проверяли документы, изымали у подозрительных лиц мешки с зерном и кукурузой, завернутые в окровавленное тряпье куски мяса, однако все это ни к чему не приводило — спекуляция изо дня в день набирала силу.

И нашей семье в то время жилось несладко. Денег, полученных по аттестату ушедшего на фронт отца, не хватало на троих. Правда, в небольшой кахетинской деревне жила наша бабушка, которая могла помочь нам своими скудными запасами фруктов и овощей, но добраться до нее было нелегко — железную дорогу окку-

пировали перекупщики, билетов не достать, а машины были в основном у военных.

Так вот, можете себе представить, какую мы испытывали радость, когда однажды прибывший с фронта на несколько дней наш односельчанин, некто полковник Курашвили, позвонил маме, рассказал об отце и сообщил, что утром едет в деревню за продуктами и может прихватить с собой кого-нибудь из нас.

Ранним утром, еще даже не рассвело, перед нашим домом остановился грузовик. Я торопливо оделся и сбежал вниз по лестнице. Курашвили сидел в кабине, не выходя из нее, он указал мне рукой на кузов, мол, полезай, — и мы тронулись.

В деревне Курашвили остановил машину перед двухэтажным домом и коротко бросил:

— В восемь уезжаем, не опоздай.

Бабушка обрадовалась мне, долго утирала слезы. Потом обошла соседей, раздобыла у кого-то дохлого цыпленка, положила мне в узелок немного грецких орехов, сухофруктов, лобно, хлеба и проводила до ворот.

Кузов нашего грузовика был уже набит мешками с картошкой, зерном, корзинами, и среди всего этого хрюкал поросенок.

Из дома доносились голоса, звон ножей и вилок — вероятно, там обедали. Я постеснялся входить, забросил в машину свой нехитрый скарб и сел под деревом неподалеку от машины. Вскоре из дома вышел водитель, за ним Курашвили. Это был высокий плечистый мужчина в солдатской шинели, лишь по погонам можно было определить, что он — полковник. Только сейчас я заметил на его лице розовый шрам. Курашвили подошел к машине и заглянул в кузов, казалось, вовсе не замечая меня.

— Это вам, — сказал он, не поворачивая ко мне головы и указывая на одну из корзин, потом велел мне подняться в кузов, а сам сел в кабину.

Был конец февраля, с заснеженных склонов Иално дул студеный ветер. Я сидел, прислонившись спиной к кабине, среди мешков и корзин, вобрав голову в плечи, и не почувствовал, как заснул под шум гроыхавшей машины.

Когда я открыл глаза, мы стояли. Я выглянул и

увидел сторожку стрелочника. «Видать, Вазиани», — подумал я. Полковник распекал кого-то:

— Чего стоишь, полезай наверх!

— Со мной ребенок, — ответил робко женский голос. — Простудится.

Хлопнула дверца кабины, и в кузов забрался полковник, примостился рядом со мной и крикнул шоферу:

— Поехали!

Машина тронулась. Полковник поднял воротник шинели, пнул каблукom визжавшего поросенка и сердито проворчал:

— Шатаются по ночам, нет, чтобы детей пожалеть, будь они неладны! — Потом взял дождевик, лежавший поверх мешков, накинул его на плечи, устроился поудобнее и вскоре захрапел.

В город мы въехали поздно вечером. На улицах непроглядная темень, из плотно занавешенных окон не пробивалась ни одна полоска света.

Проехали Навтлуги и повернули к Авлабару. Тут нас остановили. Полковник спал. Я встал, с трудом выпрямив в коленях задеревеневшие от долгого сиденья ноги, и выглянул из машины.

Перед кабиной стоял милиционер, держа под мышкой что-то, завернутое в белую бумагу, и всюю распекал шофера. Я не слышал, что он говорил, но тут до меня донесся голос нашего водителя.

— Да перестань ты, заладил тоже! Не видишь, кто мы такие? Я ведь сказал, машина полковника, мы были в деревне за продуктами, едем домой... Отпусти, будь человеком, я в гараж опаздываю.

— И это мы выясним, где вы были, — повысил голос милиционер, заглядывая в кузов. — Отведи-ка машину в сторону. — Он поднялся на подножку кабины и показал рукой шоферу, мол, поворачивай. Шофер разозлился.

— Ты что, белены объелся! На, смотри путевку! — Он достал из нагрудного кармана бумагу и протянул ее милиционеру.

— На кой черт мне твоя путевка, ты штраф плати!

— Почему? И откуда ты такой взялся? Ты что, патруль?

— Не твое дело. Ну что, будешь платить?

— Слушай, ты вышел подработать что ли? Если ты пьян, то проходи, никто тебя не держит, — спокойно парировал шофер. — Чего пристал, я еду своей дорогой.

Тем временем проснулся полковник.

— Что случилось? — спросил он хриплым спросонья голосом.

— Тут милиционер не разрешает нам ехать, — откликнулся шофер.

Полковник оглядел милиционера.

— Если ты будешь слушать каждого бездельника и останавливаться, то мы не доедем до дома! Поехали! — приказал полковник и снова устроился поудобнее, чтоб вздремнуть.

Милиционер подошел к кузову.

— Бездельник я или кто, выясним в отделении, спускайся-ка, товарищ, и предъяви документы.

Полковник не шелохнулся. В темноте я не видел его лица, но почувствовал, что он разозлился.

— Поехали! — крикнул он шоферу.

Шофер включил мотор.

Милиционер вновь вскочил на подножку.

— Поверни! Кому сказали!..

Едва он проговорил это, как полковник соскочил с машины.

— Иди сюда! — тихо и грозно сказал он милиционеру. — Ты понимаешь, с кем говоришь?

Милиционер подошел. Поверх шинели у полковника был наброшен дождевик, и милиционер не видел погон.

— Покажи документы! Чего глаза таращишь? Думаешь, надел военную форму, так с тебя взятки гладки? Документы давай, спекулянт ты этакий, не то...

И тут полковник размахнулся изо всех сил, залепил милиционеру пощечину...

Из кабины выскочил водитель, я тоже спрыгнул и вдвоем мы схватили полковника, рвавшегося расправиться с поверженным милиционером. При этом он кричал:

— Я — спекулянт! Я — спекулянт, мать твою!... Я проливал на фронте кровь для того, чтоб такие, как ты, тыловые крысы обзывали меня спекулянтом?

— Успокойтесь, ради бога, успокойтесь... Он не

знал... Хорошо, хорошо, успокойтесь, ради Лианы вашей, успокойтесь, прошу вас!

Водитель изо всех сил удерживал полковника, не спуская, однако, взгляда с распростертого на земле милиционера. Тот вдруг приподнялся и пополз.

«Револьвер ищет!» — мелькнула у меня мысль, и я заледенел от ужаса. Полковник, как опытный солдат, тоже, видно, почувствовал опасность и, выскользнув из наших рук, бросился к милиционеру.

— Оружие ищешь? На, бери мое, посмотрим, на что ты способен!

Милиционер не ответил, стоя на корточках, он шарил рукой по земле.

— Ну что ты ищешь? — полковник схватил милиционера за плечо.

Мы с водителем подошли к ним.

— Спички есть?.. — глухим голосом спросил милиционер у водителя. — Чиркни, ради бога... я тут хлеб выронил... Темно, черт возьми, ничего не видно.

Шофер чиркнул спичкой. На мгновение осветилось лицо полковника. У него дрожали губы, шрам на щеке побагровел. Он молча повернулся и поднялся в кузов.

Я последовал за ним.

В кабине громко плакал ребенок.

Водитель еще стоял рядом с милиционером, что-то говорил, видимо, успокаивал, потом стряхнул полы его шинели, сказал «Платок оставь себе» и пошел к машине.

Хлопнула дверца кабины, и мы поехали...

1954

ДА БУДЕТ ТАК ВСЕГДА...

Трудно уезжать из дома от родителей, родственников, соседей, но еще труднее покидать город, в котором прошли твои детство и юность.

Тбилиси!..

Что вспоминается мне сейчас из далекого детства?.. Теплая, ласковая улыбка матери, елка, краснуха и коклюш, школа, первая любовь и первая глубокая грусть, которая стерла границу между юностью и тем возрастом, когда тебя, еще совсем молодого человека, мальчишка в красном галстуке называет «дядей»...

Вспоминается 1941 год. В середине июня мы закончили школу и всем классом пошли на улицу Марджанишвили фотографироваться.

Фотограф долго мучил нас, сажал то так, то этак, то ему не нравилось, как мы сидим, то — освещение. Тем временем один из нас вышел на улицу купить папиросы (кое-кто уже курил!) и когда вернулся, шепнул озабоченно: «Ребята, война началась!..»

На той фотографии у всех у нас испуганные глаза. В них — выражение войны...

Вспоминается Тбилиси военных дней. Казалось, город был одет в солдатскую шинель: серыми были склоны Мтацминды, Махатская гора и окрестности Навтлуги. Ночью город не засыпал, а умирал, все окуналось в кромешную тьму. Тишину нарушал лишь тихий разговор прикорнувших у калиток дежурных или же свисток милиционера и чей-то резкий окрик: «Потушите папиросу!».

Помню терзающий душу гул невидимых самолетов и перечерченное огромными световыми полосами небо. Помню ощущение голода и промокшие рваные ботинки, — и сегодня ногам зябко, когда я вспоминаю об этом... Помню, как однажды я пришел с завода домой и сестра протянула мне вчетверо сложенный листок. Это была похоронка на брата... Сестра плакала, а я как мог успокаивал ее, потом, когда она ушла в школу, бросился ничком на постель, зарылся головой в подушку и горько зарыдал. Вспоминается соседка, армянка, она гладила меня по голове, утешала... Многие помнятся: возвращение с фронта большого отца, бессонные ночи на заводе и, наконец, самое острое воспоминание: День Победы, когда мы с друзьями останавливали прохожих и целовали их! Тот счастливый день был для меня платой за все мучения и потери.

Почему я вспоминаю это?

Потому, что все, что я пережил, вместе со мной пережил и Тбилиси! В те дни и позже моя судьба и судьба каждого из нас была неразрывна с его судьбой. Моя жизнь, как и жизнь других, — страничка летописи Тбилиси, и никогда не лишне перечитать эту страницу...

Сегодня я вспоминаю о Тбилиси, находясь вдалеке от него. И если мои воспоминания овеяны грустью, не осуждайте меня, ведь в этой грусти — большая любовь.

Я закрываю глаза и мысленно вновь возвращаюсь в Тбилиси... Лиловые сумерки опустились на город: на склоны Мтацминды, набережную Куры, улицы, площади, сады, дворы... «Видели вы цвет затуманенных слив?» — именно такие сумерки. Воробьи облепили платаны на проспекте Руставели, словно певцы, заняли свои места и ждут взмаха палочки дирижера, чтоб воспеть мой город. По мосту Карла Маркса (бывшего Воронцовского моста) идет стриженная под мальчишку девушка. Ее зовут, вероятно, Мзия, или Манана, или Ирма, а может быть, Иринэ. Это не имеет значения! Главное, девушка спешит куда-то и лицо ее так же светло и безмятежно, как этот вечер. Девушка останавливается на мосту и устремляет взор на запад. Там над Цхнети небо желтое, как дыня, — и ни облачка... «И завтра будет погожий день», — думает девушка и продолжает путь...

Да будет так всегда: пусть тбилисец посмотрит на небо и предскажет хорошую погоду.

1956

В БОЛЬНИЦЕ

Мерцающий желтоватый свет электролампочек скользил по серо-зеленым стенам длинного и холодного коридора. В конце коридора, за столом, сидела медсестра. На двери за нею надпись «Изолятор». На других — цифры: 1, 2, 3, 4 — это палаты... И еще надписи: «Женское хирургическое отделение», «Кабинет дежурного врача», «Операционная», «Ординаторская». Надписей много.

Медсестру звали Дорой. На ней — длинный до пят белый халат не первой свежести. Дора надевала его в ночные дежурства, поскольку в это время некому спрашивать с нее. Все спали, и дежурный врач тоже. Иногда и Дора спала — когда у нее не было книги. В углу вестибюля — старый, ободранный кожаный диван, там никто ее не побеспокоит, и больных там не слышно, одним словом, лучшего места для отдыха в больнице не найти. «Уж очень беспокойный народ эти больные», — сетовала Кетино, подруга Доры. Они дежурили посмен-

но: днем — Кетино, ночью — Дора, случилось — и наоборот.

В эту неделю Дора дежурила три ночи подряд. С тех пор, как ту женщину перевели из палаты в изолятор, Дора не прочла ни страницы. О сне и речи не может быть! Сколько раз за ночь приходится ей промывать рану, перевязывать, делать компресс, массаж и бог знает еще что! «Будь они неладны, эти больные и страдающие!» — думает Дора и пытается преодолеть последние страницы «Тео». В голову ничего не лезет. Знает, что в любую минуту из палаты может выскочить сын больной и крикнуть: «Дора! Скорее, дорогая, кажется ей плохо!». Сумасшедший! Конечно, ей плохо! А что может сделать Дора? Она же не бог?! Этой женщине уже ничего не поможет, сказал профессор, да и Дора так думает... «Тео с растрепанными волосами выбежала из комнаты и закричала: «Папа! Па-паа!» Капкан резко обернулся...» «Дора! Ради бога, скорее!» — доносится до Доры отчаянный крик, и она тотчас забывает о прочитанном. Вскочив, она быстрым шагом идет в изолятор. Парень (Дора даже не знает, как его зовут) стоит в дверях. Это высокий смуглый юноша лет восемнадцати-девятнадцати, с бледным от долгой бессонницы лицом. «Дора, дорогая... ей больно... Может пантопон сделать?», «Хм, уже разбирается», — думает в сердцах Дора и входит к больной.

Комната малюсенькая, такая тесная, что кровать едва умещается. Рядом с кроватью — табурет, который служит также столом. Лампочка, видимо, перегорела, горит свеча. На стенах, полу, одеяле — желтоватые пятна. Огромная тень Доры падает на больную, стелется по потолку. В темноте едва видно утонувшее в подушке лицо с огромными широко раскрытыми глазами. Больная что-то шепчет, дыша, как выброшенная на берег рыба. Дора наклоняется к ней. «Никто... Никто не знает... А он понял... догадался... У меня же внутри... вот здесь...». Дора не понимает по-русски и нервничает. К тому же, она не дочитала книгу и не знает что случилось с Тео, встретится ли она с возлюбленным?

«Когда в последний раз делали укол?» — спрашивает Дора у замершего в дверях парня. «Давно... Сделайте еще, а? Она же мучается». В голосе сына мольба

и безысходность. «Сделаю, трудно, что ли?» — думает Дора и выходит из палаты.

«Ба-ам!» — бьют в вестибюле стенные часы. Первый час ночи...

ТЕБЕ НЕ ВСЕ РАВНО ?

Полночь. На трамвайной остановке стояли двое — женщина и мужчина. При моем появлении она пристально взгляделась в меня, убрала со своего локтя руку спутника — так, что даже не взглянула на него, — и безотчетно, словно лунатик, пошла в мою сторону. В это время подошел трамвай, я поднялся в вагон и оглянулся. Она поднялась вслед за мной. Мужчина, недоумевая, долго еще смотрел в сторону ушедшего трамвая.

Трамвай шел медленно. Останавливался и шел дальше. Всю дорогу мы молчали и сошли на конечной остановке. Так же молча пошли по темной улице. Она — впереди, я — следом... Подошли к барачного типа деревянному строению. Прошли через коридор и оказались в комнате. Она распахнула зарешеченное окно. Открылся вид на широкий пустынный двор с каменной, местами обвалившейся, оградой. За оградой — полотно железной дороги, а еще дальше — кладбище, и там — крошечная тьма... Ни она, ни я не произнесли ни слова, лишь молча прильнули друг к другу.

И все исчезло. Я чувствовал только ее упругое тело и в душе — непонятную грусть по чему-то далекому...

За окном время от времени проносились поезда и тогда в стенном шкафу тихо позвякивали рюмки.

В комнате стояла тишина — тишина душной июльской ночи. Снова и снова гроыхали за окном поезда, и я как бы воочию, отчетливо видел, как прогибались рельсы под их тяжестью... Рядом со мной лежала незнакомая женщина. Не та, с которой я, безумно влюбленный, расстался три года назад, а другая, чужая, но прекрасная, похожая на всех женщин на этой земле...

Я пытался вспомнить, как ее зовут, но никак не мог.

— Нана... — произнес я безотчетно.

— Я не Нана.

— Кто же?

— Тебе не все равно? — ответила она и отвернулась к стене.

Я лежал и смотрел в окно. Звездное небо переполосовано железными прутьями решетки. Из испорченного крана во дворе лилась вода и текла по брусчатке.

Как я уснул, не помню. Снился мне странный сон. Что-то жужжало, надоедливо и бесконечно жужжало у самого уха и не давало мне покоя. Более всего мучило меня то, что я не мог понять, откуда этот звук. И вдруг я увидел: низко, совсем низко, на расстоянии десяти метров от земли летели вражеские самолеты, крылом к крылу, и от ветра, поднятого их крылами, пригибалась к земле опаленная трава. Я лежал ничком в окопе и мне трудно было дышать. С минуты на минуту ожидал я знакомый, ледящий сердце свист, за которым последует взрыв и тогда... Вдруг что-то загремело, и я испуганно открыл глаза.

Рассвело. За окном проходил товарняк. В шкафу позвякивали рюмки, в комнате с чайником в руке стояла женщина.

— Что будешь пить — кофе или чай?

— Все равно, — ответил я и стал одеваться. Сегодня у меня кончалась командировка. Ночным самолетом я должен был лететь в Москву.

1957

СОН

Отвесную скалу, возвышающуюся в море, опоясывает дорога. Начала ее не видно, конца тоже. По одну сторону дороги — стена, по другую зияющая бездна, а внизу — море, словно гигантский занавес, опущенный с небес и отороченный у подножия скалы белой пенистой бахромой. По дороге на бешеной скорости мчится набитый людьми грузовик. Я в числе пассажиров — мы стоим в кузове, цепляясь друг за дружку, чтоб не вывалиться. Дорога узкая, такая узкая, что машина едва умещается на ней, и вот на одном из поворотов я чувствую, с удивительной ясностью ощущаю, как от земли отрываются два задних колеса, машина кренится влево, потом переворачивается в воздухе и стрелой летит вниз, в морскую пучину. В ушах свистит ветер, я зады-

хаюсь, сердце вот-вот разорвется в груди... «Я должен выпрыгнуть, как можно скорее, выпрыгнуть, иначе...». Еще секунда и... Вдруг молнией вспыхивает в сознании спасительная мысль: «Это сон!..»

Я открываю глаза и испуганно оглядываюсь. В кипе стоит проводница и, улыбаясь, предлагает мне чай.

1959

МОИ ЗНАКОМЫЕ

(ЗАРИСОВКА)

— Я все равно поеду в Бакуриани! — упрямо заявила девушка и сверкнула белыми острыми зубками. В просторной, не по росту лисьей шубке, остролицая, с колючими глазками, она и сама походила на лисичку. Она опустила накрашенные ресницы и, откинувшись на сиденье, равнодушно посмотрела в окно машины.

— Ты погляди на нее! — воскликнула мать, молодая, но необычайно полная женщина, и всем телом повернулась к сидящему рядом гостю, чуть было не придавив его. — Как вам нравятся нынешние девушки, Симон? Мать ей говорит одно, а она твердит свое.

— А ее никто не спрашивает, поедет она или нет! — послышался с переднего сиденья непреклонный голос мужчины. — Как отец скажет, так она и поступит!

— Молодая она, Алексеич, — вмешался в разговор водитель, — отпусти, пусть едет! Лыжный сезон наступил, вся тбилисская молодежь теперь там, — шофер обернулся и подмигнул девушке, — пусть порезвится немного, что тут плохого?

— Смотри вперед! — сказал мужчина. — Мы сами разберемся.

— Я все равно поеду! Вот увидите! — упрямо повторила лисичка и зарылась лицом в воротник.

Гость закурил сигарету.

— Давно не бывал в наших краях... — проговорил он, опустил стекло и выдохнул дым. — Не дует? — спросил он попутчицу.

— Нет, ничего, — женщина заерзала, устраиваясь поудобнее. — Нынче теплая зима.

— Он, Нанули, привык жить в России, — не оглядываясь, заметил муж. — Зима ему, наверное, по нраву.

— Да, да, большим человеком стал наш Снмой, и в Грузию-то возвращаться, наверное, не намерен. Вы предпочитаете остаться в Москве, верно? Скажите правду, ради бога...

— Предпочитает, как же!

— Не говори, Котэ! Человек всегда стремится жить там, где ему лучше. Чего ему там не хватает? Прекрасная квартира, хорошая работа... А приезжает сюда — и тут ему почет, все на руках носят... Чего ж еще надо?!

— Чего надо, говоришь?! Вот когда дети его не будут знать родного языка и забудут, какого они роду и племени, он поймет, чего ему надо.

— Без роду и племени... Можно подумать, в твоём Тбилиси им жить лучше, чем в столице! — язвительно произнесла лисичка. — Даже в Бакуриани не пускаете!

— Придержи язык за зубами, — отец и на сей раз не повернул головы, сидел неподвижно и смотрел прямо перед собой на дорогу. Гость видел лишь его бритую шею и опущенную на уши шляпу.

— Ты позвонил в деревню, Котэ, там знают, что мы едем?

— Знают, конечно!

— Представляю, какое будет застолье, ведь какого знатного гостя везем!..

— Будь спокоен. Всех поднял на ноги! Всех! Везу, сказал, соотечественника, известного поэта, не ударьте лицом в грязь... Сейчас там такое творится, бегают все как угорелые, пятками задницы молотят. — Котэ захихикал.

— Что за язык у тебя, Котэ! Гостя бы постеснялся!

— Ничего, ничего, он кахетинец, стерпит!

— А как ваш зять поживает? — поинтересовался гость, переводя разговор в другое русло.

— Уже в Нужриани, небось, он-то никогда не упустит случая покутить.

— Почему же не поехал с нами?

— Он и его княгиня не жалуют «Москвич», у них своя «Волга».

— Они поехали с сыном?

— А как же? Для меня застолье не застолье, если Важико не со мной.

— На кого он похож? — поинтересовался Симон.

— На кого, спрашиваешь? Вылитый дед, сверху до низу, все у него — как положено!..

— Хватит, отец, надоели твои плоские месечечковые путочки, — надулась лисичка и взглянула на гостя, как бы извиняясь за бесцеремонность отца.

— Что?.. Ты гляди, Симон, какие времена настали!.. Слышишь, что говорит?.. — Котэ повернулся к дочери. — А ведь и ты и твоя сестричка родились не в городе, уж больно быстро культурными стали и Кахети вам не по вкусу, да? Ну о чем мне говорить с вами?.. — Котэ хотел по привычке добавить крепкое словцо, но сдержался.

Вскоре шоссе сменилось асфальтовой дорогой, показались виноградники и крытые черепицей дома. Машина приближалась к Нужриани.

1963

ЛЕСНИК

С андро — такой же беспокойный человек, как я, не сидится ему на месте. Сдав последний экзамен, мы, не сговариваясь, решили поехать в Джугаани, к нашему другу Гули Матабели.

На рассвете мы уже были в Цнори.

После бессонной ночи в поезде мы испытали необычайное наслаждение, когда вышли из душного вагона и увидели необъятную даль, распростертую до амого Кавказского хребта. Мы пошли по дороге, ведущей в Джугаани. Стояла поздняя осень. Было холодно. Безоблачное небо отливало синевой, всходило солнце, и далеко-далеко в Алазанской долине одна за другой тянулись арбы.

До самого Джугаани мы не проронили ни слова. Вскоре мы подошли к дому Гули. Было воскресенье, и вся семья оказалась в сборе. Разумеется, нас тотчас усадили за стол. опередив Сандро, я сказал Гули, что мы приехали поохотиться. Утренний завтрак незаметно перешел в обед, обед — в ужин и, как это нередко случается у нас, все вылилось в настоящее пиршество. Тотам не было конца, одним мы воздавали хвалу, дру-

гих осуждали, читали стихи, пели... Не помню, когда мы разошлись.

Наутро у всех у нас болели головы, но мы, захватив приготовленные для нас ружья, влезли в колхозную грузовую машину и поехали в Чиаурский лес. Нас было четверо: Сандро, я, Гули и его двоюродный брат Бухути, единственный среди нас охотник-профессионал. В детстве многие, наверное, ходили на охоту с отцом или дядей и, пока взрослые охотились, сидели под деревом и уплетали за обе щеки хлеб с маслом... Мы не были исключением. Оказывается, впечатления детства настолько сильны, что ни один из нас по прошествии времени не сомневался, что он заядлый охотник. В машине мы только и говорили, что о ружьях, дичи, один Бухути молчал. Он сидел в кузове, привалившись к кабине, подняв воротник и прижав к груди двустволку. Перед нами расстилалось бескрайнее поле. Порой через дорогу перелетали воробьиные стаи и опускались неподалеку у обочины. Откуда-то неожиданно выпархивал коршун, кружил над нами и, подобрав крылья, нырял в серые комья земли. Мы радовались, как дети, вскидывали ружья, но не стреляли, знали, что настоящая охота впереди — по словам Бухути, в Чиаурском лесу полным-полно фазанов...

Нашей беззаботности пришел конец, когда Бухути собрал нас на опушке леса и сказал:

— Хватит болтать, мы приехали сюда не на прогулку. Михаил и Сандро пойдут вправо, Гули останется со мной. В конце леса ферма, встретимся там!..

Бухути снял с плеча ружье, зарядил его. Мы последовали его примеру. Вдруг рядом в кустарнике послышался шорох и, не успев я глазом моргнуть, как из зеленой кущи вылетела стрелой сперва одна птица, за ней другая.

— Фазан! Фазан! — закричали мы. Бухути выстрелил.

— Тьфу, промахнулся!.. — Он опустил ружье и набросился на нас. — Чего стоите, принимайтесь за дело! Идем, Гули! — Бухути шагнул к лесу. Гули жалобно посмотрел на нас, пожал плечами и молча последовал за братом. Мы с Сандро остались одни.

— Ээээ, — вздохнул Сандро и перевесил ружье через плечо. — Не повезло... А ты чего не стрелял?

— Не успел.

— Я, конечно, мог выстрелить, но Бухути опередил меня... Ты заметил, они летели в мою сторону? Скажу тебе откровенно, зря этот Бухути поторопился, по всем правилам должен был стрелять я.

Я вспомнил, что в тот момент, когда появились фазаны, Сандро держал в руке расческу и старательно причесывался, но промолчал. Сандро снял шапку, достал из нагрудного кармана расческу и начал причесываться.

— Пошли, что ли? — сказал я.

— Да, да, конечно!

Сандро спрятал расческу в карман и поспешил за мной...

Узкая тропинка вела через заросли ежевики. Высокие, по самую грудь, колючие кусты царапали лицо и руки. Буквально через минуту брюки наши были сплошь залеплены желтоватым репейником. Заросли становились все непроходимее, тропинка исчезла под сплошным ковром покрывавших землю сухих листьев. Сандро отстал. Некоторое время я еще слышал, как он ворчал, обвинял в нерасторопности Бухути, но голос его становился все глуше, и вскоре вокруг воцарилась прямо-таки непроницаемая тишина. Я невольно остановился и огляделся: вокруг стояли кривые, кряжистые деревья. Ветви их, стелясь по земле, образовывали такую густую сеть, что через нее пролезть не только человеку, даже зверю было бы трудно. Как пугала, возвышались среди карликовых деревьев старые, с ободранной корой, великаны. Такая тишина царила вокруг, что я слышал биение собственного сердца. Вдруг рядом что-то зашуршало. «Фазан!» — мелькнула мысль, я вскинул ружье и прицелился в то место, откуда, как мне показалось, должна была взлететь птица. Шорох повторился. Каждая секунда казалась мне вечностью, я стоял оцепенелый, затаив дыхание, поскольку Бухути еще дома предупредил меня, что фазан — птица крайне осторожная. Оттерев рукавом вспотевший лоб, я осторожно сделал несколько шагов по направлению к кусту. Вновь что-то зашуршало, но теперь, как мне показалось, за моей спиной. «Что за чертовщина?» — подумал я и вдруг услышал хорошо знакомый тоненький писк, какой издает малая, ничем не примечательная птичка.

крапивник. «Тьфу, будь ты неладна!» — сплюнул я в сердцах и попытался выбраться из зарослей. Но это оказалось не так просто. После нескольких попыток я убедился, что попал в западню... Оставалось только лечь на землю и по-пластунски выбраться из колючих зарослей.

Солнце уже стояло в зените. Лес поредел. То и дело попадались пни, захороненные под грудой опавшей листвы, иссохшие стволы, которые рассыпались в прах, едва коснешься их ногой. Пахло сыростью — всюду царство мха. Вскоре показалось болотистое поле с редким широколиственным палочником и яркой зеленой муравьей. Здесь где-то должна протекать речка Шавцкала, вдоль нее — тропинка, ведущая к колхозной ферме. Все так, как нам описали в деревне. Я шел не долго, вскоре поле кончилось, и показалась река. Хотя Шавцкала только называется рекой — неподвижная поверхность ее была покрыта желтоватым, цвета серы мхом, огромные деревья, словно крокодилы, валялись на заплесневелом дне, протягивая к небу смолисто-черные обугленные ветви. Трудно было представить, что под ними протекает вода. Бездвижная Шавцкала напоминала царство чертей и мертвых душ, и я поспешил как можно скорее покинуть это место...

Я не ожидал, что встречу здесь кого-нибудь, и потому удивился, увидев на берегу реки шалаш, возле которого на пне сидел мужчина.

Я поздоровался.

— Где здесь ферма?.. — спросил я по-русски, потому что на мое приветствие по-грузински он ответил по-русски: «Здравствуйте».

— В той стороне, — показал он рукой. — Иди по тропке, она ведет прямо туда. — И уставился на мое ружье: — Охотишься?

— Да...

— Садись, передохни...

Он достал из кармана коробочку с мелко нарезанными листьями табака, скрутил самокрутку из газетной бумаги и закурил.

— Из Тбилиси? — поинтересовался он.

Я ответил и в свою очередь полюбозытствовал, кто он и что здесь делает.

— Лесник я, — ответил он, взяв у меня ружье, и по-

вертел его в руках. В это время в лесу грянул выстрел.

— Твои друзья, небось... — проговорил он. — Хорошее ружье, сколько платил?

— Подарили, — соврал я.

Он еще раз осмотрел ружье и возвратил мне его.

— Я хочу купить такое же, мое совсем одряхлело. — Он встал и вынес из шалаша «ижевку», которая в нескольких местах была перехвачена проволокой. — То же шестнадцатого калибра...

Тем временем на противоположном берегу Шавцкалы показались Гули и Бухути. Они громко переговаривались и шарили в кустах.

— Они тоже из Тбилиси? — спросил лесник.

— Да, — сказал я и добавил: — Отец вон того главврач на тропической станции в Цнори.

— Матабели? В его больнице лежит моя жена. Недавно был я там, так ни за что не пускали к ней, а он разрешил... Сердечный человек...

— И хороший врач, — добавил я и ради приличия поинтересовался, что с его женой.

— Не знаю, — пожал он плечами. — Говорят, лихорадка. Теперь вроде бы лучше ей. Глядите, вас зовут!

Гули и Бухути размахивали руками и что-то кричали, вероятно, хотели перебраться на этот берег. Лесник молча встал, вытащил спрятанную в тростнике небольшую лодку и поплыл им навстречу. Удивительное это было зрелище: казалось, лодка скользит по земле! Воды не было видно. Лишь когда опускалось весло, чавкала влажная тина, и на миг разрывался ее покров у самого носа лодки, но тотчас же за лодкой «шов» на зеленой глади восстанавливался, не оставив и следа. Бухути подстрелил одного фазана — это был единственный наш охотничий трофей.

— Слушай, стыдно возвращаться с пустыми руками, может купим у этого человека рыбы? — шепнул мне Бухути.

Лесника не пришлось долго уговаривать. Он снова сел в лодку и вскоре возвратился с рыбой, нанизанной на ивовую веточку. Денег брать отказался, но мы все-таки пошарили по карманам, наскребли около двух рублей, а поскольку этого было мало — ведь рыбы было,

вероятно, около трех килограммов — мы решили взять только часть улова.

— А что я буду делать с остальной рыбой? Не выпускать же ее в воду? — улыбнулся лесник.

Мы распрощались с ним, и, когда отошли уже довольно далеко, я побежал обратно и оставил ему несколько патронов.

На другой день мы возвращались домой. Из Джу-гаани выезжали рано и потому в Цнори пришлось дожидаться поезда. Побродив бесцельно по базару, мы пошли на тропическую станцию, к отцу Гули.

Дядя Васо был занят и «перепоручил» нас девушке в белом халате.

— Займись, пожалуйста, гостями.

Гули остался с отцом, а я и Сандро вышли в больничный сад. Мой друг немедля стал обхаживать медсестру, мое же внимание почему-то привлекли люди, собравшиеся у здания больницы. Среди них я увидел лесника и подошел к нему.

— Ну, как жена? — спросил я.

— Скончалась, — тихо произнес он и посмотрел в сторону.

От неожиданности я застыл на месте.

— Когда?..

Лесник пожал плечами.

— Утром мне сказали, что ей плохо... Пока я ходил в магазин за хлебом, она, оказывается, умерла.

Он вздохнул, достал из кармана знакомый мне коробок и стал сворачивать самокрутку. Руки у него дрожали.

— Дети у вас есть?

— Мальчик и девочка... Еще в школу не ходят... — Лесник смотрел куда-то вдаль, словно беседовал не со мной. — Как мне быть с ними?.. Ни матери у них, ни отца...

— Отца?..

— Ну да... Отец их погиб на войне... С моей женой я в госпитале познакомился, она работала уборщицей... Хорошая была женщина, добрая, работающая... Трудно ей приходилось с двумя-то... Вот я и женился... — Он снова вздохнул.

Я не знал, что говорить, как утешить его.



— А где сейчас дети?

— Соседка увела. Побудут немного с ней, а там видно будет... — Лесник задумчиво провел рукой по лицу. — Подумаю, как быть дальше, у детей должна быть мать, иначе нельзя... — Он бросил окуроч на землю и раздавил его каблуком. — Наверное, женюсь... У детей должна быть мать... — повторил он, точно убеждая самого себя.

В это время из больницы его окликнули.

— Я пошел... зовут... — Он нахлобучил шапку по самые глаза и отошел. Я стоял и глядел ему вслед. Вокруг бурлила жизнь. Люди, пришедшие проведать больных, были веселы и беззаботны. Грекло солнце, на белой больничной стене качалась тень от деревьев, на земле копошились воробьи и казалось, что ничего, абсолютно ничего не случилось.

1963

ОН И ОНА

Пили всю ночь. На рассвете он покинул друзей и теперь нетвердой походкой шел по проспекту Густавели, гулкому и пустынному. В тишине было слышно, как где-то неподалеку энергично подметает мостовую дворник.

Тошнотворная смесь желтовато-сизого света, разлитая вокруг, действовала угнетающе. Он шел мимо платанов и не понимал, то ли он качается, то ли качается под ним испещренный тенями тротуар. Шел неторопливо, хотя и не бесцельно, подстегиваемый каким-то упрямым желанием.

Пять лет не был он в Тбилиси. С тех пор, как уехал учиться, он не видел ее. Интересно, она по-прежнему живет в том доме? Тогда, пять лет назад, она только разошлась с мужем и отчаянно пыталась подавить в себе жажду любви. Хотя сейчас это не имеет никакого значения, замутненное вином сознание не подчинялось ему.

Вот и знакомый дом!.. Он вошел во двор и по винтовой лестнице, закрученной, как штопор, поднялся на балкон, где сушилось белье и стоял двухколесный дет-

ский велосипед. Жильцы мирно спали в своих квартирах с закрытыми ставнями.

Он подошел к одному окну с полуоткрытой ставней и заглянул в комнату. Там было темно, и он ничего не увидел. Он постучал, но, не дождавшись ответа, повернул ручку и потянул дверь на себя.

Из комнаты кто-то отозвался, открылась ставня, и в темноте он различил белый силуэт.

— Открой!.. — буркнул он и налег на дверь.

Женщина в белой рубашке прильнула к стеклу, в ужасе закрыла лицо руками и отпрянула от окна. «Она одна?» — подумал он, но чувство ожидаемого блаженства заглушило эту мысль, и он вновь взялся за ручку. Щелкнул ключ, дверь открылась.

— Откуда ты? — В голосе женщины был и страх и удивление. Она пятилась в глубь комнаты, прикрывая руками обнаженную грудь. Он различил в полумраке кровать, не проронив ни слова, в пьяном дурмане одним движением плеч сбросил с себя пальто, потом — пиджак и привлек к себе женщину.

— Подожди... Подожди... Ребенок проснется, — шептала она, пытаясь вырваться из его цепких рук. Он почувствовал тепло ее тела, у него закружилась голова, и он уже ничего не соображал. Она что-то говорила, умоляла, вразумляла его, но он не внимал ей...

И вдруг он очнулся. Переход из состояния глубокого забытья в реальность был молниеносен, точно в темноте зажгли свет. Он лежал, закрыв глаза, но чувствовал, что в комнате, кроме него, есть еще кто-то. Он осторожно открыл глаза.

У окна стоял мужчина и смотрел на балкон. В предрассветном полумраке он видел его согнутые плечи и лысину, над которой плыл папиросный дым.

Он снова закрыл глаза и замер. «Кто это?» — подумал он и тут с необыкновенной ясностью представил двусмысленность своего положения. Голый (когда это он успел раздеться!), в чужой квартире, в чужой постели, — в присутствии (он не сомневался в этом) мужа женщины, или же ее бывшего мужа, с которым она вновь сошлась. Раз этот человек в квартире в такую рань, стало быть, он имеет на это право...

Он лежал не шелохнувшись и искал выхода из совершенно безвыходного положения. И тут он почувст-

вовал, как мужчина отошел от окна и приблизился к кровати. Он робко, чуть-чуть, приоткрыл веки. Мужчина стоял над ним и пристально смотрел на него. У него свело горло, заледенела кровь и замерло сердце. «Ударит... Стукнет чем-то», — мелькнула мысль, и ему стало жаль себя. Но в это время с шумом распахнулась дверь и в комнате зазвенел тонкий детский голосок:

— Папа, папочка! Чего же мы ждем, а?

Отец ответил не сразу.

— Пойдем... — помедлив, проговорил он.

Вновь хлопнула дверь, и в комнате воцарилась тишина...

Он все еще лежал, боясь шелохнуться, не сводя глаз с подтеков на потолке. Потом встал и начал одеваться. Ни о чем не хотелось думать, и когда она вошла в комнату, он даже не оглянулся.

— Ну что? — почему-то шепотом спросила она, хотя, кроме них, в комнате никого не было.

Он завязал шнурок, потянулся за другим ботинком, надел его и только после этого поднял голову. Видимо, он ожидал от нее чего-то другого, но когда увидел на ее лице лишь страх и любопытство, вновь наклонился и стал старательно завязывать шнурки.

Она погладила его по голове.

— Ничего не случилось... Не волнуйся... — сказала она, ленивой походкой подойдя к зеркалу. — Не торопись, — продолжала она, расчесывая волосы. — Они пошли гулять и до вечера не придут... А мне говорили, что ты в Москве... Давно приехал?

Он не ответил и на этот раз, взял со стула пиджак, надел его. Она заколола волосы шпилькой и кокетливо улыбнулась.

— Не поцелуешь?

— Не могла сказать, что помирилась с мужем?

— Помирилась? С чего ты взял?

— А как он очутился здесь?

— Пришел за ребенком...

— Некрасиво вышло...

— Ну что ты?.. Он ни о чем не догадывается. Я сказала, что ты — мой школьный товарищ, приехал из Москвы, что тебе негде было ночевать, вот я и предложила тебе остаться.

— Думаешь, он поверил?

— Не поверил и черт с ним! Не стану же я его уговаривать?.. Это он умоляет меня помириться, а будет ревновать, вообще не пушу!..

Он уже надевал пальто, торопился так, точно кто-то гнался за ним.

— Захаживай... — Она подошла к нему и обняла за шею. — Только не в субботу и воскресенье... Вечерами я дома.

Она порывалась поцеловать его, но он убрал ее руки и молча вышел.

Он спускался по лестнице и со всех сторон на него были устремлены любопытные взоры соседей. Ему было стыдно, он весь покрылся испариной, но еще больше мучило его нечто другое, но что именно, он пока еще не мог определить.

1965

ЛОЗА И КОЛЫШЕК

Памяти родителей

Наступила весна, и поднялась, расцвела стыдливая лоза.

Когда же пришла пора зрелости, рядом с ней люди поставили колышек. Так соединили их судьбы, с того самого дня были они неразлучны — лоза и колышек. Лоза обнимала его, прильнув к нему, не скрывала слез радости и каждый год одаривала людей янтарными гроздьями. Лоза любила колышек тихой, неброской любовью, скорее, поклонялась ему, нежели пылала жаркой неумемной страстью. Лишь один раз в году цвела лоза, да пора эта была столь скоротечна, что никто не замечал ее, зато плоды ее радовали, все нетерпеливо ждали, когда можно собрать гроздья и насладиться их пьянящим соком.

Шло время.

За весной следовало лето, за летом — осень, за осенью — зима. В коловороте времени лоза честно отслужила свой век, почувствовала усталость в коленях, состарилась и обессилела. И тогда она выпустила колышек из своих объятий и упала к его ногам, и даже не застонала.

Дождь, снега и ветер безжалостно топтали ее тело так, что от лозы не осталось и следа.

А колышек стоял, как обелиск, на том самом месте, где некогда цвела лоза...

1969

ТАЛОН НА КЕРОСИН

БЫЛЬ

История, о которой мне хочется рассказать, относится к далекой военной поре. Помню, как уродовали тогда наш красивый город перечерченные белыми крестами оконные стекла и длинные очереди. Они придавали любимому нами с детства Тбилиси какой-то иной облик, тоскливый и убогий. Очереди стояли повсюду: у магазинов, столовых, киосков... Товары и продукты выдавались по талонам: и хлеб, и повидло, и мыло, и керосин. Так вот, о талоне на керосин я и хочу рассказать. У подвалов, где продавался керосин, очереди были особенно длинные. На каждого человека по одному талону выдавалось всего два литра. А ведь без керосина ни жилище не согреть, ни пищу не приготовить.

На тротуаре, у самой стены, чтоб не мешать прохожим, стояли в очереди люди. Очередь напоминала огромного удава, раскрытая пасть которого находилась у самого подвала, тело растянулось по близлежащим улицам, а хвост закручивался по всему кварталу и бог знает, где кончался! Кое-где между людьми стояли бидоны, заржавленные консервные коробки, камни или кирпичи, на которых так же, как и на руке стоящего в очереди химическим карандашом или же мелом был написан порядковый номер. Очередь волновалась, шумела. Этот шум и гомон стали для меня неотделимы от Тбилиси военных лет.

В тот день в очереди за керосином на нашей улице можно было заметить женщину, не старую, но уже всю седую. Она была похожа на учительницу музыки или иностранного языка.

Она стояла в очереди, вероятно, всю ночь, и потому днем ее сменял сын, он прибежал, что-то шептал матери на ухо, становился на ее место, а она уходила —

они жили неподалеку, в доме напротив керосинового подвала.

За полдень, когда, наконец, подошла их очередь, парень спустился в подвал, получил положенный ему керосин, вышел на улицу и, когда взглянул на талоны, со всех ног кинулся домой.

— Мама! — крикнул он в дверях. — Гляди, керосинщик забыл оторвать талон! Мы и завтра можем купить керосин!

Женщина оторвалась от домашних дел, подняла голову и, побледнев, сказала:

— Немедленно верни талон! Как тебе не стыдно!

Сын поставил на пол бидон и вышел.

Когда люди в очереди увидели парня, они всполошились, отовсюду послышалось: чего пришел, ведь получил уже свое, куда прешь?!

Паренек клялся, что он пришел не за керосином, что ему надо всего-навсего что-то сказать керосинщику... Но кто его слушал! На шум из подвала выглянул керосинщик и сердито крикнул:

— Чего галдите!

Парень поднял руку с талонами.

— Вы забыли оторвать талон! — крикнул он керосинщику.

Воцарилась гробовая тишина, люди расступились и пропустили мальчика. Керосинщик стоял с ковшом в руке, смотрел на парня и не мог вымолвить ни слова. Потом тихо спросил:

— Кто тебя прислал, сынок?

— Мама, — ответил парень.

Керосинщик швырнул на землю ковш.

— У тебя мама что — Христос? — воскликнул он в недоумении, вытер рукой выступивший на лбу пот и, вздохнув, добавил: — Пойди, принеси бидон.

И пока парень не вернулся с бидоном, он стоял у входа в подвал и молча ждал. Очередь тоже молчала. Керосинщик налил в бидон керосину, оторвал талон и похлопал парня по плечу...

Мне остается только добавить, что та женщина — моя мама, а тот паренек — я, в ту пору студент первого курса Тбилисского государственного университета...

1980

Перевод с грузинского



* * *

Дружище, я редко сюда прихожу
И мыслями здесь запасаюсь.
Дождусь темноты, в небеса погляжу
И в суетной жизни покаюсь.

Покажутся долгие годы труда
Мне снова годами простоя.
И сам от себя я далек, как звезда,
Горящая там, надо мною.

Заполнили звезды ночной небосвод, —
В их свете мельчают заботы.
Прошелся я по двору взглядом — и вот
Припомнил веселое что-то.

Звезда же, которую я, по всему,
Помыслил судьбой своею,
Сорвавшись, когда-нибудь канет во тьму,
Но небо не станет беднее.

* * *

Когда мне не смогут помочь доктора,
В преддверье разлуки — но вечной разлуки, —
Душа вдруг запросится вон со двора,
Забьются, как крылья, усталые руки.

О белая птица — надежда моя!
Твоею защитой я жив, мне сдается.
Сегодня же в небо пущу ее я,
Пускай над родимой землею взвоется.

Пускай там покружится вместе с душой,
Покажет искусство, паря и играя.
От Псоу к Ингури по трассе большой,
А после — обратно от края до края.

Внизу ей увидятся Дал и Цабал¹,
С верховий Кодора поднимется в горы.
Надежда! Я сам тебя птицей назвал.
Теперь ты над Рицей появишься скоро.



И, будто почуяв беду надо мной,
Вернешься, чтоб в лапы я ей не попался,
С зажатою в клюве строкою одной,
Строкой, за которую я не утнался.

* * *

Сад еще не отцвел, когда я уезжал...
— Будет некуда фрукты девать нам, похоже, —
Чтоб хоть что-то сказать, так отец мой сказал.
Мать шепнула с тревогою: — Будь осторожен...

Та дорога меня увела далеко,
Слишком долго в чужой стороне я скитался.
Хоть вернуться домой было мне нелегко,
Но среди земляков снова я оказался.

Сокрушенным застал я отца своего:
Ураган, обезумев, промчался по саду.
Жалко старых деревьев, но хуже всего,
Что погибла лоза, и не зреть винограду!

Я опять уходил со двора, как тогда.
Мой отец разгребал бурелома завалы.
— Были б живы мы все, и беда — не беда, —
Он сказал. Мать же молча меня приласкала.

Подхватил меня времени водоворот,
Гнался сам за собой и не мог я утнаться.
Весть из дома меня настигала раз в год,
А душа все витала над нашей апацхой.

Дома ждут — злую совесть не мог я унять.
Торопись — ты в роду своем не инородец!
И когда я приблизился к дому опять,
От соседей узнал, что засох наш колодец.

¹ Дал, Цабал — села, опустошенные во время насильственного переселения абхазов в Турцию.

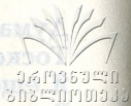
Думал, глазом хозяйским всего я коснусь.
Тосковал я по дому, с ним связанный кровью.
Я еще не гадал, что с напастью столкнусь:
Вихрь внезапный раздел обветшалую кровлю.

А дороге все не было видно конца,
Хоть и скорое грезилось мне возвращенье.
И, вернувшись, я встретился с гробом отца,
От него не услышал я слова прощенья.

Дни проходят, и беды идут стороной,
Время раны душевные скоростью лечит.
Но, спеша по дороге, ведущей домой,
Замираю: вдруг мать мне не выйдет навстречу...

Перевод с абхазского Марины КУДИМОВОЙ





Дождливый Мзианети

РАССКАЗ

В некотором царстве, некотором государстве... в маленькой стране был маленький городок. В маленьком этом городке через день шел дождь, но назывался он почему-то Мзианети¹.

В маленьком Мзианети все было маленьким — и улочки, и базар, и погост, и сплетни, и радости, и бахвальство.

В маленьком городке, разумеется, и жители были «маленькими», и работа у них была «маленькая» и пирушки, но вино они пили непременно большими стаканами. Большие стаканы вина, в свою очередь, вызывали великие мысли, великие претензии и великие желания. Но вскоре все опять мельчало, и уставшие-измотанные за день мзианетцы ложились спать, и сны их вполне соответствовали их масштабам.

Ночь, как известно, всегда сменяется днем, и в маленьком Мзианети тоже не нарушался этот неписанный закон. Светало точно в определенное время, а именно с приходом мусорной машины. Из-за заснеженных гор выкатывалось желанное, как тарелка хаши, солнце, и вставшие спозаранку жены будили своих супругов.

— Ты что, Викенти, вставать не собираешься?

— Разве «скорый» уже прошел? — бормотал спрессованный сон, поворачиваясь, чтобы досмотреть превращенный сон, к стенке, которую украшал расшитый оленьими гобелен. На гобелене висели роги, а под ними фотография Викенти и его супруги в молодые годы.

А на дворе стояло незабываемое, как первая любовь, весеннее утро. С неба лилось жидкое золото.

¹ Мзианети (груз.) — Солнечный.

В тот момент, когда девятиглазое солнце посылало свой первый луч в окно самой красивой девушки Мзианети Офелии Чкадуа, на Центральную железнодорожную станцию маленького городка с грохотом входил «скорый» поезд. Именно в это время Викенти в полосатой пижаме подходил к зеркалу, недовольно разглядывал свою физиономию, бормоча, впрочем, достаточно громко для того, чтоб слышала жена, что надо бросать пить.

До того, как поезд остановится на станции, хочу вас предупредить, что слово «скорый», призванное характеризовать его технические возможности, мне кажется несколько преувеличенным, поскольку едва плетущийся поезд поминутно останавливался, подбирая пассажиров, а машинист добродушно здоровался с каждым встречным-поперечным.

Поезд прибывал в город каждый день, но несмотря на это, появление его было каждый раз событием. И в дождь и в ведро «скорый» встречала уйма народу. Но из этого факта нельзя сделать сколь-нибудь серьезных выводов. Поскольку абсолютное большинство мзианетцев приходило сюда безо всякого дела, погулять, поглазеть по сторонам. Для них поезд был не только средством связи с большими городами, но и вернейшим источником информации. В Мзианети сплетня всегда рождалась на станции, заканчивала же она свое существование в кофейне. О кофейне мы поговорим особо, пока же выйдем на перрон, послушаем, о чем говорит гуляющая парочка.

Дама: Слышал, дочка Меленти, эта соплячка вчера из дому сбежала?!

Мужчина: Ну, значит, гуляем на свадьбе!

Дама: Не говори, хоть какое-то развлечение, от скуки помереть можно!

Скука! Скука! Сегодня это явление глобальных масштабов. Как вирусный грипп, поразила она страны и континенты, не пощадила даже миллионные города, что уж говорить о Мзианети!

Поначалу мзианетцы объявили непримиримую войну скуке: энергично пили вино, энергично ели свежее мясо, энергично писали анонимки. Но все было напрасно, ничего не помогало от этой страшной болезни. И

маленьким жителям маленького городка наскучило бороться и тогда они энергично махнули на все рукой.

Разумеется, рукой махнули не все (ведь может же быть, что в это время кто-то держал рог с вином?!). Одним из тех, кто не махнул рукой и не смирился с судьбой, был Иона Кадагидзе. Это был сорокалетний мужчина, неженатый, но образованный и, несмотря на солидный возраст, пользующийся достаточной популярностью у женщин. Ясно, что одной образованностью ему не достичь было такой популярности. По всей вероятности, в нем женщины находили и некоторые другие гораздо более привлекательные мужские достоинства. Во всяком случае бесспорно одно: при виде Ионы Кадагидзе у Офелии Чкадуа замирало сердце, а розовые ланиты розовели еще больше.

Как говорил великий Шота, любовь возвышает. Но ко времени нашего рассказа в Ионе Кадагидзе ничего возвышенного заметно не было. Вернее, на данном отрезке времени ему было не до любви, и бессонные ночи он проводил не в мечтах о возлюбленной, а совсем за другими делами. Да, Иона не был похож на других, и на станцию он пришел не гулять, а встретить одного человека, на которого Иона возлагал большие надежды, и как выяснится позднее, не без оснований.

Ожидание этой встречи настолько поглотило Иону, что когда знакомый попросил у него сигарету, он протянул спички. Но знакомый привык уже к таким шуткам и не отреагировал, только спросил, как вчера сыграли наши.

— Кто «наши»? — растерялся Иона.

— Футболисты, кто же еще?

— Ты ничего больше не нашел, что спрашивать рано утром? — вознамерился было рассердиться Иона, но не успел, так как на станцию входил «скорый», и высыпающий на платформу духовой оркестр грянул егерский марш.

Поезд замедлил ход и остановился.

Облепившие окна пассажиры с любопытством смотрели на не менее любопытных мзианетцев, и в глазах их можно было прочесть вопрос, по какому поводу такое веселье, ведь сходить на этой станции никто не собирается...

Но они ошибались, один пассажир все-таки сошел в

Мзианети. Он вышел из пятого вагона с чемоданом в руках. Это был одетый со вкусом молодой человек приятной наружности, с густой шевелюрой. На мгновение ему показалось, что быть может оркестр играет в его честь, но он тут же понял, что это не так, и чтоб скрыть неловкость стал читать вывешенные на станции транспаранты.

Именно к этому человеку устремился Иона Кадагидзе.

— Вы Тамаз Гавашели, не правда ли?

— Да, это я, — обрадовался приезжий.

— Я Иона Кадагидзе, сотрудник управления, в котором вы собираетесь работать.

Поставив чемодан на землю, молодой человек крепко пожал Ионе руку.

— Очень приятно!

— Не знаю, что тут приятного...

— Простите, я не понял?! — растерялся приезжий.

— Мы планировали встретить вас на более высоком уровне, но в итоге эту почетную миссию возложили на меня.

Приезжий окончательно растерялся, подумав, что этот странный субъект, наверное, издевается над ним. Но надо отдать ему должное, при всем том говорил он очень приветливо.

— Я очень благодарен вам, но зачем же было беспокоиться?

— Это моя обязанность, — объяснил Иона, — вы молоды и нуждаетесь в опеке.

— Вы говорите о моей молодости так, словно вы сами...

— Не утешайте меня, — сказал Иона, проводя рукой по посеребренным волосам, — моя молодость давно прошла.

Хорошо, что эти слова не слышала Офелия Чкадуа, хотя если б даже и слышала, все равно не поверила бы. Иона был романтиком по натуре и любил вставлять в разговор поэтические фразы, иногда он даже цитировал великих людей или народные пословицы и поговорки типа: «На нет и суда нет», «Без труда не вынешь и рыбку из пруда», ну и тому подобное.

Тем временем под звуки оркестра поезд тронулся, постепенно набирая скорость. Народ стал расходиться.

ся. Иона и Тамаз вышли на площадь перед станцией. Такси тут было больше, чем пассажиров. Шофера соревновались друг с другом в вежливости.

— Пожалте сюда!

— До гостиницы — всего рубль...

Один из шоферов, знакомый Ионы, жестом пригласил их в свою машину. Тамаз направился было к такси, но Иона остановил его.

— Да не слушай ты его, до гостиницы около двухсот метров, пройдемся.

Тамаз согласился. К тому же такая прекрасная погода...

— Ходить пешком полезно в любую погоду, — не дал договорить Иона.

Разговаривая, пересекли площадь и вышли на центральную улицу. Такси медленно следовало за ними. Иона остановился и весьма сурово попросил водителя не привязываться.

— Хоть чемодан подвезу, если сами не садитесь, — не отставал шофер.

— Я сказал, отстань, — разозлился Иона.

— Я-то отстану, а кто мою семью кормить будет? — в свою очередь разозлился шофер и, газанув, обдал их шлейфом дыма.

— Человечество погубит не атомная война, а вот этот дым, — категорически изрек Иона, и Тамаз не стал с ним спорить. Он не переставал удивляться: по его собственному признанию, он нигде не видел столько свободных такси.

— Я считаю, что нашему городу не нужно столько машин. Но многие считают ниже своего достоинства ходить пешком, вот, пожалуйста, — на перекрестке Иона поднял руку и остановил несущуюся на них машину. — Ну, что смотришь, думаешь, раз у меня нет машины и я хожу пешком, то я, может, не знаю стихов Галактиона?!

— Странно, в Мзианети сегодня не приехал никто, кроме меня, — перевел разговор на другую тему Тамаз.

— Если б к нам каждый день приезжал хотя бы один человек, хороши были бы наши дела, — вздохнул Иона.

— А зачем играл оркестр на станции?

— Он играет каждый день, чтоб не скучала публика... Так сказать, культурное обслуживание...

Они медленно шли по набережной, в двух шагах от них волновалось море. У пристани на волнах покачивались маленькие катера и фелуки. Тамаз думал увидеть хотя бы обычный теплоход, если не океанский лайнер, но ожидания его не оправдались. Увидев, что гость разочарован, Иона объяснил:

— В Мзианети большие суда не заходят, что им тут делать?!

На набережной было много народу, все здоровались с Ионой, беззастенчиво рассматривая приезжего, пытаясь угадать, откуда он прибыл и зачем. Седой представительный мужчина, главный консультант мзианетского вычислительного центра, взял Иону под руку и, извинившись перед Тамазом, увлек его в сторону.

— Как дела, Иона, как твоё здоровье?

— Так я и поверил, что тебя интересует моё здоровье!

Тогда главный консультант, не теряя времени, перешел прямо к делу:

— Если я не ошибаюсь, этот молодой человек — киноактер?

— Очень ошибаешься...

— Ну тогда, значит, это тот самый экспедитор, который должен был приехать на винзавод...

— А вот и не угадал...

— Ну чего ты тогда мучаешь меня, скажи уже... — обиделся главный консультант.

— Скажу, но обещаю никому не говорить!

— Клянусь тебе своими сединами!

— Смотри, рискуешь, но так и быть, раз обещал, скажу, — тут Иона перешел на шепот: — это приехавший из центра разведчик.

Консультант побледнел:

— Разведчик?!

— Тсс! Тише! Он будет ловить контрабандистов.

Иона и Тамаз продолжили путь, а главный консультант задумался, не разыграл ли его прохвост Иона. После долгого раздумья он вошел в кабину телефона-автомата и набрал номер:

— Алё, Пацня, ты? Смотри никому не проговорись...

Сегодня в Мзианети приехал разведчик из центра, чтоб выловить контрабандистов.

— Очень любознательный народ в Мзианети, объяснял Иона Тамазу, — появление незнакомого человека — просто сенсация.

В глубине души Тамаз полагал, что причиной повышенного интереса к нему является его внешность, но вслух сказал, что для маленького городка это естественно.

Слово «маленький» прозвучало пренебрежительно и тут же вызвало замечание Ионы.

— Хоть Мзианети и маленький, но у него древняя история.

— Да, да, если не ошибаюсь, еще Вахушги говорил... — вспомнил Тамаз.

— До Вахушги говорил Страбон, — прервал его Иона, — но кто ему поверил! Историки центра отнюдь не утруждают себя мыслями о провинции.

— Да, но почему? — искренне огорчился Тамаз.

— Потому что фазан Горгасала летал не над этой набережной. Да что же делать, у нас летали собственные фазаны. Мзианети существовал еще до рождения Христа.

— Да неужели? — усомнился Тамаз.

Иона указал на рощу на берегу моря.

— Видишь эти сосны? Они помнят аргонавтов. Копни только лопатой и прошлое заговорит тут на каждом шагу. Но кого это интересует?! Никто не слышит, как камни вопят.

— Но вы же слышите?

— Я один, до центра мой голос не доходит, а мзианетцы не интересуются историей.

В глазах Ионы была такая печаль, что Тамаз чуть не разрыдался, но тут нужны были не слезы, а поддержка, ободрение.

— Не переживайте, батано Иона, не всегда же вы будете один!

— Да, но я не вижу возле себя человека, который мог бы поддержать меня, — Иона искоса поглядел на Тамаза.

— Могу я чем-нибудь быть полезен?..

Иона не дал ему договорить.

— Конечно, можешь, юноша! Я весьма уважаю мо-

лодежь... Но, как говорили, римляне, «нихиль пробат, кви нимнум пробат...»

— Простите, я не понял..

«Ничего не доказывает тот, кто доказывает слишком много». Мудрые слова, хотя нам нужны не слова, а дело, а дел столько, что одной жизни не хватит... Вы удивлены?

— Нет, по правде говоря, я заслушался вас.

Иона был очень польщен, но не показал и виду.

— Я знаю, что возлагаю на вас весьма ответственную миссию. Но воля ваша, если вы не хотите, можете сейчас же отказаться.

— Помилуйте, как вы могли подумать! — оскорбился Тамаз.

— Люблю смелых! Как говорил великий Шота, трусость и смерть кровные враги... Поэтому долой смерть и да здравствует жизнь!

— Ура!

Мощная рука Тамаза встретила с худой рукой Ионы в крепком рукопожатии.

После столь торжественных минут воцарилось молчание, потому что чувства неподвластны словам. Наконец Иона прервал его словами:

— А вот и мой дом!

Дом был стандартный, неказистый, с наполовину побеленным фасадом. По всей вероятности, он был построен давно, поскольку жильцы уже успели застеклить балконы. Под крышей торчали водосточные трубы, под которыми никто не решался пройти в дождь.

— Поднимемся, позавтракаем и отдохнем перед работой.

Тамаз заколебался, считая, что лучше пойти прямо в гостиницу, но Иона рассеял его сомнения, сказав, что в гостиницу он всегда успеет. Появление их не осталось незамеченным соседями. Одна из дверей на лестничной клетке слегка приоткрылась.

— Напрасно беспокоитесь, уважаемая Аграфена, вы незнакомы с этим человеком.

У другой двери Иона рукой прикрыл глазок, — и вы не извольте беспокоиться, уважаемый Теофиле. Если вам так уже невтерпеж все узнать, приходите ко мне, я и чаем вас напою, вы же любите чай с вареньем.

Иона жил на третьем этаже.

— Добро пожаловать, мой Тамаз, добро пожаловать! «Май хауз из май касл».

Тамаз часто слушал по телевизору уроки английского языка и несколько не сомневался в том, что «хауз» это дом, поэтому он решил, что Иона спрашивает, как, мол, тебе нравится мой дом.

Ну, а что могло понравиться в однокомнатной квартире с низким потолком, в которой кроме книг не на чем было остановить глаз. На стене вместо ковра висело нечто вроде карты. Тамаз долго смотрел на странные линии, но так ничего и не понял.

— Это археологическая панорама Мзианети, — объяснил Иона, — подробности — потом.

— У вас столько книг, как вы успеваете читать?

— По ночам, другого времени у меня нет.

— Не тесновато ли вам? — решил, наконец, Тамаз.

— Для одного меня и этого много, — бодро начал Иона, но тут же дрогнул: — если бы еще одну комнату... счастливее меня не было б человека на свете.

— Но ведь эти мечты не так уж трудно и осуществить?!

— Ты думаешь? Ведь другие нуждаются больше моего.

— Ну, как говорится, своя рубашка... — Тамаз был очень доволен, что вспомнил эту поговорку, услышанную еще в детстве, ведь Иона мог подумать, что он полный неуч.

— О себе уже нет времени думать, — продолжал Иона, — меня волнуют другие проблемы.

Тамаз с пониманием смотрел на него.

— Надеюсь, ты не будешь смеяться над тем, что я скажу?

— Ну что вы...

— Так вот, меня волнует судьба народа... Ну что ты на меня уставился? Под народом я подразумеваю исключительно мзианетцев.

— Да, но что случилось?

— Врагам не пожелаю того, что случилось с нами, — от волнения Иона бурно жестикулировал, — книг не читают, в театр не ходят, ничего их не интересует, кроме еды.

Тамаз не удержался от улыбки.

— Я-то думал, несчастье какое стряслось...
— Как? Разве это не несчастье? — вскричал Иона.
на. — Именно несчастье! Если хочешь, несчастье в квадрате! Ты что сомневаешься в этом?!

Тамаз отступил.

— Я не сомневаюсь, но...

— Никаких «но»! Мы должны отучить людей от безделья и беспечности. «Оция дант виция» — безделье порождает пороки. Это так и, пожалуйста, не вздумай спорить!

Иона не шутил, Тамаз же не мог взять в толк, что требуется лично от него.

— Мы, я так понимаю, это я и вы, не так ли?

— Именно так! Начать должны мы! Я надеюсь, ты не забыл свое обещание?

— Разумеется, нет!

Иона стоял с встрепанной гривой седых волос и пристально смотрел Тамазу в глаза, пытаясь определить не колеблется ли тот.

— Пойми, я не настаиваю, все исключительно добровольно... Ты можешь взять свое слово назад.

Тамаз выдержал его испытующий взгляд.

— Ни в коем случае!

— Так я могу рассчитывать на тебя?

— Безусловно!

Мучимый сомнениями Иона вновь воспрянул духом.

— Да будет так, мой Тамаз! Как говорили древние римляне, человек живет надеждами. «Ад августа пер ангуста» — «Великие цели требуют великих жертв».

Тамаз кивал головой, во всем соглашаясь с ним.

— Я, верно, утомил тебя разговорами, — спохватился Иона, — сейчас принесу чаю, и запомни это, чаю, а не вина! Когда мы победим, мы сможем выпить и шампанского!

Теперь уже Ионин голос доносился из кухни. Тамаз листал лежащую на столе книгу. Это было «Житие Картли». Неожиданно он наткнулся в ней на фотографию молодой красивой женщины. Вошедший в комнату Иона заметил это и непринужденно взял ее у Тамаза из рук.

— Нравится? — спросил он словно бы между прочим. Тамаз кивнул, и Иона продолжал, — миловидная, даже можно сказать, красивая.



— Вы можете не говорить, но мне кажется, что вы равнодушны к этой красавице.

Иона покраснел.

— Почему ты так решил?

— Как известно, любовь...

— Мне сейчас не до любви, мой Тамаз, меня ждут великие дела, — решительно прервал его Иона и вновь спрятал фотографию в «Житие Картли», поставил книгу на полку.

— Но все же, кто она? — не отставал Тамаз.

— Это Офелия Чкадуа, сотрудница нашего управления, — пробормотал Иона.

В тот момент, когда Иона Кадагидзе произносил эти слова, красавица Офелия Чкадуа сидела в парикмахерской и наводила на себя еще большую красоту. Парикмахер Тамила, мастер номер один женского салона и заведующая бюро сплетен Мзианети, завивала спускающиеся волнами волосы Офелии и нашептывала ей на ушко комплименты. Интересно, ворковала она, кто тот счастливчик, что оденет бриллиантовое кольцо на пальчик первой красавицы Мзианети. Как известно, комплименты могут вскружить голову любой дурнушке, что уж говорить об Офелии. И пусть никто не удивляется тому, что слышать эти слова ей было очень приятно. Мысленно она пыталась представить себе, как оденет ей это кольцо на палец Иона Кадагидзе. На свадьбу, думала она, пригласим избранных гостей, и это будет европейская свадьба: шампанское, цветы и, разумеется, музыка. Но ни в коем случае не доли с гармоникой и баяты, а божественный Штраус, скрипка и фортепьяно. Разумеется, на Офелии будет белое, как мечта (или ткемалевый цветок) платье, а на Ионе печальный (или цвета спелой сливы) темный костюм, и в некогда скорбных, а теперь уже веселых его глазах будет бушевать пламя любви.

Но это была всего лишь красивая мечта и ничего более. В действительности же будущее Офелии было окутано туманом неопределенности и этот туман не в силах была развеять даже кофейная гуща. Все это начинало сильно сердить Офелию, вызывало у нее досаду. Ей было непонятно, почему молчит Иона, если любит.

Ох, эта любовь! Она непредсказуема! Ну, скажите,

разве мог Иона полюбить кого-нибудь, кроме Офелии Чкадуа! Конечно, он любил ее, но скрывал свою любовь, как краденого коня. Наверное, так было нужно Чужая душа потемки. Мы знаем только одно: Иона поставил перед собой задачи столь грандиозные, что не только на свидания с любимой, но порой и на работу не всегда успевал ходить. Те, кто не понимал этого, объясняли все по-другому, а некие доброжелатели даже писали анонимные письма Офелии Чкадуа, объясняя его равнодушные связи с женщинами легкого поведения. Офелия, разумеется, не верила этой клевете, но, согласись, всякому терпению есть предел. И существовала вероятность того, что в один прекрасный дождливый день она выкинет из сердца Иону и свяжет свою судьбу с более достойным мужчиной. Слава богу, претендентов на руку Офелии было не так уж мало, и она, видя поведение Ионы, никому окончательно не отказывала.

Кончив укладывать волосы, Тамила какое-то время с гордостью смотрела на творение своих рук. Офелия похвалила ее и поднялась с кресла,

— Да, слушай, ты знаешь новость? — словно бы только вспомнив, сказала Тамила.

— Про дочку Меленти, что сбежала? — Офелия еще раз оглядела себя в зеркале и осталась весьма довольна собой. — Между нами, чего ей было сбежать, парень целыми днями у них дома торчал...

— Да я не про то, — отмахнулась Тамила.

— Знаю, знаю, про Какалу Гарсеванишвили, что выдавала себя за гинеколога, а сама диплома медсестры не имела, да?

Тамила загадочно улыбнулась и покачала головой.

— Ну тогда говори быстрее, я на работу опаздываю.

Тамила таинственно нагнулась к ее уху.

— Сегодня утром к нам приехал какой-то красивый молодой человек, очень красивый.

Услышав слова «очень красивый», Офелия навестила уши.

— Он высокий, кудрявый...

— Кудрявый это не то, — качнула головой Офелия.

— Это почему же? — обиделась Тамила.

— Кудрявые волосы сейчас не в моде, они — признак умственной отсталости.

— Ну, если я не понимаю в волосах... — поджала губы парикмахер Тамила...

— Ну какая ты, право, я сказала это не для того, чтобы обидеть тебя, — огорчилась Офелия. — Ну а дальше, дальше, какой он из себя?

— Голубоглазый, с черными усами...

— И все?

— По-моему для одного достаточно... Да, чуть не забыла, его встречал Иона.

— Иона? — Офелию внезапно осенило, — значит это был наш новый служащий из центра. Наверняка он.

— Нет, не ваш служащий, а разведчик в штатском.

— Да ну, это сплетни все! — не поверила Офелия.

— Мне сказал такой человек, уж он точно знает, — не отступала Тамила.

Стоящая у дверей Офелия кокетливо повернулась (мимо парикмахерской в это время проходили мужчины) и сказала:

— Мы сегодня же узнаем, что это за разведчик. Я зайду вечером и все расскажу.

— До вечера я не выдержу, обязательно позвони мне, — кричала ей вслед Тамила.

Офелия Чкадуа шла на работу. Она шла, и вся улица с восторгом смотрела на нее. На фоне расцветающей природы она была столь очаровательна, что глянь сейчас на нее Иона, он взял бы ее за руку и повел бы не на работу, а к себе домой. Но ничего похожего не произошло, и не только потому, что Иона с Тамазом были уже на работе.

— Знакомьтесь, наш новый сотрудник, — представил Иона Офелии незнакомца.

Офелия протянула мягкую белую руку и, очаровательно улыбаясь, произнесла: — Очень приятно! — Чем ввергла Тамаза в сильное замешательство. Он пробормотал, что ему тоже очень приятно. Впоследствии он все время думал об этой руке и улыбке.

Начальник управления Дурмишхан Ражденович подробно расспросил Тамаза Гавашели, где он родился, кто его родители, не по протекции ли попал в институт. Последний вопрос вызвал категорический протест нового сотрудника, но начальник успокоил его, сказав, что осторожность не мешает и ему надо знать все. Он го-

ворил так убедительно и веско, что Тамаз не посмел возразить.

— Ты молод, и с тебя спрос и на работе, и дома, и в городе... Надеюсь, ясно? — закончил допрос начальник.

— Ясно, Дурмишхан Ражденович.

— Начальство нужно слушаться во всем.

— Я с вами абсолютно согласен.

— Если меня не будет, со всеми вопросами — к Викенти, он мой заместитель, неплохой человек.

— Иона тоже хороший человек, — не поспешил на похвалу Тамаз.

Но начальник махнул рукой, жест его мог означать только одно, не советую, мол, связываться с ним. Тамаз удивился, но промолчал.

— Да, еще одно... Смотри, будь осторожнее с женщинами, я знаю их штучки. С Офелией Чкадуа уже познакомился?

— Познакомился, — почему-то покраснел Тамаз.

— Ну и как? — последовал непонятный вопрос.

— Симпатичная...

— Эта симпатичная особа уже свела тут с ума одного, и смотри будь осторожнее, как бы и ты не начал писать стихи, — Ражденович немного помолчал, а затем спросил, — да, кстати, а ты женат?

— Нет...

— Женись побыстрее, не бегай по улицам, это Мзианети, у людей тут вместо двух — четыре глаза.

Они вышли из кабинета и направились в общий отдел. При виде начальника сотрудники встали, оставив кто вязание, кто книгу, а кто кофе.

— Сколько раз вам говорить — на работе надо заниматься работой, — нахмурился Дурмишхан Ражденович.

В комнате воцарилась тишина.

— Ну что мне с вами делать? Если будет так продолжаться, я буду наказывать, объявлю выговор, уволю с работы, наконец!

Викенти удивленно смотрел на начальника, справедливо полагая, что не умеющий кричать Дурмишхан Ражденович старается ради нового сотрудника.

— Почему вы молчите? — продолжал между тем Дурмишхан Ражденович. — Может, я неправ?

Викенти должен был сказать хоть что-то, другого выхода не было.

— Мы виноваты, Дурмишхан Ражденович, и постараемся исправить свою ошибку.

Начальник смягчился.

— Хотите пить кофе, пожалуйста, идите в кофейню, я не запрещаю, кто хочет стать профессором, пусть читает книги у себя дома, что же касается вязания, не лучше ли покупать вязаные вещи в магазине. Зачем вы портите себе глаза! Ну а теперь, если вы разрешите, я представлю вам нашего нового сотрудника Тамаза Гавашели. Но смотрите, не портите мне человека... Викенти, ты мой заместитель по кадрам, и это твоя прямая обязанность — взять юношу под свою опеку. Вы же видите, какую жертву принес человек: приехал из центра в провинцию. Полюбились ему наши места, и мы должны полюбить его, — с этими словами Дурмишхан Ражденович удалился.

Викенти показал Тамазу его рабочее место.

— Вот, устраивайся, уже больше месяца мы держим это место для тебя.

— Столько времени ждали меня? — удивился Тамаз.

— Мы в Мзианети знаем толк в кадрах, — самодовольно улыбнулся Викенти.

Стол Тамаза оказался рядом со столом Офелии и в этом абсолютно случайном факте Тамаз увидел перст судьбы. Офелия во всяком случае внешне осталась безразлична к этому соседству. Все, кроме Ионы, с любопытством рассматривали Тамаза, словно бы задавались вопросом, чему может этот специалист из центра их научить.

Неловкое молчание нарушил внезапно ворвавшийся в окна ветер. Опередив всех, Тамаз бросился закрывать окна. Как-то вдруг стемнело. Загрохотал гром, и Викенти закрыл руками уши. Офелия задумчиво смотрела в окно, словно бы не чувствуя присутствия постороннего мужчины.

— Вы сердитесь, и потому гремит гром, — сказал ей Тамаз.

Офелия, неприятно пораженная смелостью Тамаза, сурово оглядела его и сказала:

— А если я заплачу, по-вашему, пойдет дождь?!

— Я думаю, дождь пойдет в любом случае, — ответил Тамаз.

И действительно, дождь пошел. Ливень, как это обычно бывает в Мзианети, хлынул внезапно.

— О, господи, а моя крыша течет по-прежнему! — громко вздохнул Викенти.

— Ужасно романтический дождь... Ведь вы же романтик? — в голосе Офелии уже не было суровости.

— Иначе я бы не приехал в Мзианети.

Иона, бросив читать книгу, подошел к окну.

— Вот тебе и Мзианети, мой Тамаз!

Из окна открывался довольно экзотический вид: по улицам текли реки и машины не решались форсировать их, зонты были бессильны и люди, как воробьи, жались под балконами и в подворотнях.

— Настоящий тропический ливень. Наверное, не скоро пройдет?! — спросил Тамаз Иону.

— Да нет, уже проходит.

И действительно, внезапно хлынувший ливень прекратился так же внезапно. Снова выглянуло солнышко, и словно бы ничего не произошло, снова зашумел город.

Офелия открыла окно и впустила обогащенный озоном воздух.

— Концерт окончен, можем продолжать работу, — весело сказала она.

Услышав эти слова, Тамаз почувствовал необычайный прилив сил. Засучив рукава, он сел за стол и со всем прилежанием углубился в работу.

Чем конкретно занимался Тамаз Гавашели к сюжету рассказа отношения не имеет, важно то, что весь отдел, подобно Тамазу, трудился не покладая рук. Офелия Чкадуа за все это время только на десять минут отвлеклась от работы, чтоб позвонить Тамиле в дамский салон. Говорила она с ней вполголоса, настолько тихо, что ей приходилось повторять уже сказанное, и Тамаз раза два услышал свое имя, но так ничего и не понял. Он убедился только в одном, а именно, что произвел впечатление на Офелию. Но стоило ему об этом подумать, он вспомнил Иону. Вечером после работы, выйдя вместе с Ионой, он испытывал неловкость и был чрезвычайно предупредителен с ним. Тамазу не хотелось так рано идти в гостиницу и он уговорил Иону

пройтись по городу. Они дважды прошлись по главной улице Мзианети. Стемнело. Зажглись красно-желтые неоновые огни рекламы. То одна, то другая буква гасла, слова выходили неудобочитаемыми.

— Ну как тебе наш Мзианети? — спросил Иона увлеченного чтением реклам Тамаза.

— Нравится. Но почему он так быстро опустел, ведь еще не поздно.

Иона объяснил, что с заходом солнца мзианетцы как куры ложатся спать, но Тамаз не поверил.

— Ведь очень рано. Должны же они чем-то заняться перед сном.

— Они и заняты: смотрят телевизор, пьют, сплетничают, — перечислял Иона.

— Читают, готовятся идти в театр... — тем же тоном продолжил Тамаз и умолк, удивленно глядя на смеющегося Иону. — Что я сказал смешного?

— Читают, говоришь?! Ну сейчас увидишь, что они читают.

Они приблизились к деревянному одноэтажному домику, который оказался публичной библиотекой, во всяком случае так значилось на доске.

— Зайдем? — спросил Иона.

— Почему же нет?! — Тамаз открыл дверь.

Библиотека, которая снаружи казалась маленькой, на деле оказалась большим залом, в котором предприимчивый человек мог устроить свадьбу на двести человек. Но сейчас зал был пуст, только в углу за столом сидел худощавый мужчина, который поздоровался, узнав Иону, и стремительно пошел им навстречу.

— Здравствуй, здравствуй! Кого это ты привел, верно, нездешний?!

— Как это ты сразу определил?

— Ну разве мзианетца затащишь в библиотеку? Брось, пожалуйста!

— Это наш новый сотрудник, приехал из центра, зовут его Тамаз, страстный любитель книг, — представил Тамаза Иона.

Библиотекарь так крепко пожал руку Тамазу, что тот удивился силе, скрытой в этом тщедушном теле.

— Очень приятно познакомиться, юноша, — библиотекарь, как и Иона, любил выражаться возвышенно.

— Очень многие молодые люди предпочитают книге

вино. Но вы должны подать им пример, доказать, что они жестоко ошибаются. Если у вас нет вопросов, я сейчас же оформлю на вас карточку и просите что угодно, все вам достану.

Тамаз смутился.

— Зачем спешить, я могу зайти завтра...

Улыбка сползла с лица библиотекаря.

— Завтра?! Но завтра вы забудете, и вообще не появитесь на этой улице!

— Слово есть слово, я сам приведу его завтра, — успокоил библиотекаря Иона.

— Ну смотри, не приведешь — не получишь свои «Колхские хроники», — пригрозил библиотекарь, — я специально для тебя выписал их из Кембриджа.

Иона ни на секунду не усомнился в достоверности этого факта, бурно поблагодарил библиотекаря, сравнив его мучения с мучениями Христа и посетовав, что мзианетцы вовек не оценят это.

Библиотекарь не обратил внимание на столь лестное сравнение и, заметив, что гости собрались уходить, перегородил им дорогу.

— Побудьте еще немного, ну куда вы торопитесь?

— У нас неотложное дело, — извинился Иона.

— А о моих делах вы не должны думать? Извелся я, совсем одичал, — голос библиотекаря дрогнул, — книги гниют, неужели никто их так и не откроет?!

Тамаз грустно посмотрел на полки. На них стояло столько книг, что на прочтение их не хватило бы одной жизни.

Библиотекарь снял толстую книгу и показал ее Ионе.

— Это «История искусства». Кроме тебя, ее никто не трогал... Вот, пожадуйста, весь Шекспир, Бальзак, Сервантес... Но кого сейчас интересует классика? Представьте себе, даже детективы не читают! Да и на что они им? Они по телевизору сразу двадцать пять серий посмотрят.

— Кто столько выдержит? — выразил сомнение Иона.

— Не выдержит и заснет преспокойно, все в его руках.

— В таком случае, да здравствует Мзианети!

— Это не здравие, это позор, уважаемый Иона...
Нет, так жить больше нельзя!

Иона и Тамаз вышли на улицу, но еще долго стояли у них в ушах жалобы библиотекаря.

— Да, так жить действительно больше нельзя! — проговорил Иона. — Что-то надо делать!

— Но сначала надо создать общественное мнение, — заметил Тамаз.

— Само по себе оно не возникнет, кто-то должен начать, возглавить это движение, — Иона смотрел на небо, словно беседуя с богами.

Они стояли у освещенного прожекторами огромного здания с колоннами. Это был местный театр, который мог бы служить украшением любого столичного города. Тамаз принялся читать афиши. Репертуар театра вполне отвечал его внешнему виду:

Софокл «Царь Эдип»

Шиллер «Разбойники»

Расин «Федра»

Гете «Фауст»

Шекспир «Отелло»

Ив. Гендзехадзе «Убийство на автостанции».

— Сегодня «Отелло», может, зайдём? — спросил Иона.

Тамаз взглянул на часы.

— Спектакль уже начался, мы не достанем билеты.

— Да уж, не достанем, — криво усмехнулся Иона, — хорошо еще, если спектакль не провалился.

На улице не было ни души. Мзианети погрузился в сон. Утомленный дневными заботами маленький город отдыхал, набирался сил, чтоб завтра с новой энергией приступить к обычной жизни.

— Тишина, как в деревне, — Тамаз полной грудью вдохнул дувший с моря ветерок, — неужто в такую ночь даже влюбленные не гуляют?

Иона развел руками и патетически воскликнул:

— Господи! Все сон, и сон, и сон. Будет ли однажды пробуждение?!

— Да, много спать действительно вредно, — подтвердил Тамаз, — полнеешь, и если не заниматься гимнастикой, может и брюшко вырасти.

Это было весьма авторитетное заявление, поскольку

ку Тамаз знал, что говорил. Он сам занимался гантелями и был обладателем прекрасной фигуры.

Иона замедлил шаг.

— Да, гимнастика обязательна, мой Тамаз, но прежде всего гимнастика мозга. К сожалению, я не смог втолковать эту истину мзианетцам.

— Терпение и время, уважаемый Иона.

— Но не до смерти же? Нет и нет! Если так будет продолжаться, история нам этого не простит!

— Ну и что она сделает?

— Выбросит нас на помойку! — резко сказал Иона. — Поэтому мы должны что-то предпринять.

— Вы только начните, а уж за мной дело не станет, — обнадежил его Тамаз.

— У меня уже давно зреют идеи, вот тут, — обхватил Иона руками голову, — но их надо систематизировать, классифицировать...

В начале одиннадцатого они расстались у дверей гостиницы.

— Спокойной ночи, уважаемый Иона.

— Для мученика нет спокойных ночей, — взволнованно проговорил Иона. — Да здравствует труд, да здравствует мечта!

Он шел по улице, бурно жестикулируя, и не знакомому с ним человеку могло показаться, что он не в себе. Но на улице не то что незнакомых, не было ни души. Только испуганные собаки порой взлаивали на него, выбегая на улицу.

Сладко спал маленький Мзианети. В рублевом номере гостиницы «Магнолия» спал Тамаз Гавашели, и впечатления первого дня не давали ему покоя и во сне.

Ионе же Кадагидзе ничего не снилось, поскольку он не спал. В его окнах горел свет — в однокомнатной квартире, набитой книгами, рождались великие идеи. Время от времени хозяин квартиры вскакивал из-за стола, подходил к окну, долго вглядывался в окутанный мраком город, затем вышагивал вдоль и поперек комнаты, бурно жестикулируя, произносил: «Возьмите эту темную и мирную ночь со снами и дайте мне ясный беспокойный день со своими страданиями, борьбой, горестями...»

День и в самом деле выдался ясный. До начала работы Тамаз и Иона вошли в самую лучшую в Мзиане-

ти, знаменитую на весь свет кофейню. Не думайте, что говоря «знаменитую на весь свет», мы преувеличиваем. Отнюдь. В Мзианети было несколько кофеен. Сатеник, Изабеллы, Роберта и Сони. Но самый лучший кофе варила Соня. Поэтому ее кофейню посещали не только местные любители кофе или приезжие из центра, но и иностранные туристы. В Сониной кофейне, или «Академии», как ее называли в шутку, Иона был частым гостем и был знаком со всеми «академиками». С ним здоровалась вся кофейня: «Иона, салют!», «Сюда, Иона, сюда!», «Кого это ты привел в Академию?».

— Это мой друг, — представил Тамаза Иона. — Я даю ему рекомендацию для приема в Академию.

— Вопрос о приеме будет рассматриваться во втором квартале.

Иона и Тамаз сели за угловой столик.

— Ну что новенького, уважаемый Иона? — спросил сидящий за соседним столиком старец в очках по прозвищу Президент.

— Газеты читать надо, батано! — напомнил Иона.

— Но ты же читаешь, разве от этого что-либо изменилось в мире?

На этот бестактный вопрос Президента Иона даже не ответил.

Соня принесла кофе и спросила Иону:

— Так и не скажешь, что это за красавчик с тобой?

— Я сказал, чтоб слышала вся кофейня: это мой друг, — терпеливо объяснил Иона.

— Прекрасный кофе, — похвалил Тамаз, и Иона согласился с ним: Соня знает свое дело. Они медленно пили горячий ароматный напиток.

— Вы долго вчера еще работали, батано Иона? — спросил Тамаз.

— Я вообще не спал!

— Ну и как? Получается?

— Получается, да еще как! Грядущее да сбудется! «Карфаген эсе делендам» — «Карфаген должен быть разрушен!» Я составил грандиозный, детально разработанный план.

— Как вы успели за одну ночь?

Иона молитвенно воздел руки.

— Я бы ничего не сделал, если б не вдохновение

свыше. Вся жизнь и одна ночь ушли у меня на этот план! Я рассмотрел и проанализировал каждую проблему. Теперь, когда существует этот документ, промедление преступно. Мы завтра же должны приступить к делу!

Энтузиазм Ионы не передался Тамазу.

— Завтра — исключено! — отрезал он.

— То есть, как это «исключено»? — поразился Иона.

— Из достоверных источников я узнал, что завтра Викенти приглашает нас к себе.

У Ионы испортилось настроение.

— Викенти накрывает стол в честь моего приезда, как я мог отказаться? — объяснил расстроенный Тамаз, и лицо его выражало столь неподдельное отчаяние, что внезапно вспыхнувший Иона так же внезапно успокоился.

— Нет, конечно, ты не мог отказаться, порой нужно идти на компромиссы.

— Значит, мир, батано Иона?

— Значит, наша борьба откладывается на один календарный день, — Иона отпил кофе и продолжил:

— Завтра, пожалуй, можешь веселиться, а послезавтра...

— Послезавтра воскресенье...

— Тем более. Нам нужно именно воскресенье.

Отступать было некуда. Тамаз только спросил, придет ли Иона к Викенти.

— Только ради тебя, мой Тамаз.

— Викенти хвастался, что у него замечательное вино.

— Не сомневаюсь, что вино у него замечательное, но оставим эту тему, — Иона перевернул пустую кофейную чашку. Тамаз последовал его примеру. — Если бы ты знал, какие я наметил планы...

Выслушав, Тамаз признал планы действительно превосходными, а Ионин разум светлым.

Иона тут же вновь обратился к древним римлянам:

— «Когото эрго сум» — «Я мыслю, следовательно, я существую», мой Тамаз.

— Поистине это так, — подтвердил Тамаз.

Подошедшая к столику Соня заглянула в чашку Тамаза.

— О, у вас дорога, деньги... И женщина... да еще какая красавица!

На следующий день у Викенти Тамаза посадили рядом с Офелией Чкадуа, чем он остался несказанно доволен. Офелия была в новом платье (красном!), и Тамаз мысленно сравнил ее с маковым цветком. Сказать это вслух он бы не посмел, разве что после двух-трех бокалов. Одним словом, все началось замечательно, хотя он не ощущал полной гармонии, что-то беспокоило его, и грешным делом, он даже молился, чтоб не пришел Иона.

Викенти что-то прошептал на ухо Тамазу, и тот во всеуслышание объявил, что будет играть, только если с ним вместе будет петь Офелия.

— Умоляю, не губи, — взмолился Викенти, обращаясь к Офелии.

Оправляя на коленях ползущее вверх платье, Офелия засмеялась и кокетливо сказала:

— Так и быть, не буду губить. Вот только общество перестанет жевать, и мы споем.

В этот момент Дурмишхан Ражденович упорно трудился над поросячьей головой, но выхода не было, пришлось ему это дело отложить.

Тамаз с профессиональным достоинством попробовал струны. Играл он на гитаре отлично, поскольку все пять лет учебы только и делал, что играл и пел, с пеннием и окончил институт. И все же он очень нервничал. Но все страхи его были напрасны. Для застолья голос у него был приличный, но когда к нему присоединилась Офелия, песня получилась и вовсе прекрасной. Супруга Викенти вспомнила первое свидание и загрустила, у Дурмишхана Ражденовича слух вовсе отсутствовал (речь идет о музыкальном слухе), но интуитивно он чувствовал, что поют хорошо, и это даже примирило его с тем, что пришлось отложить поросячью голову.

Песня была в самом разгаре, когда ее прервал звонок в дверь.

— Это, наверное, Иона, — сказал Викенти, идя к двери.

— Ну, конечно, не опоздать он не может, — разозлилась Офелия.

И в самом деле появился Иона. Он не особенно из-

винялся за опоздание, отказался от предложенного стула, сказав, что забежал на минутку.

— Налейте ему три стакана, — приказал Дурмишхан Ражденович, — один за опоздание, а два за то, что он прервал прекрасный дуэт Офелии и Тамаза.

Викенти наполнил стаканы.

— Вы все три выпьете? — спросила Офелия, огорченная тем, что Викенти упомянул о «дуэте».

— Я выпью только один, уважаемая Офелия!

Слово «уважаемая» было произнесено с таким нажимом, что от злости Офелия стала такого же цвета, как ее платье, и мстительное чувство охватило ее.

Иона поднял стакан:

— С вашего позволения, я хочу поздравить Тамаза Гавашели с тем, что он стал гражданином нашего Мзианети и членом нашего коллектива, желаю ему всего наилучшего!

Тамаз встал, одной рукой придерживая гитару, чокнулся с Ионой.

— Меня, мой Тамаз, не интересует, как ты играешь на гитаре... — продолжал Иона, но тут его перебила Офелия, сказав, что на гитаре он играет прекрасно, в душе она страстно желала, чтоб Тамаз треснул этой гитарой его по башке. Но Иона, пропустив мимо ушей реплику Офелии, словно бы не слыша ее, продолжал, — меня, мой Тамаз, интересует только одно, какой вклад ты внесешь в благоденствие своего народа, какую ты окажешь поддержку людям, пекущимся о благе народа. Выбор за тобой, мой Тамаз. Делами своими ты покажешь себя!

Под гром аплодисментов Иона и Тамаз обнялись, и Иона опорожнил стакан.

— Великодушно простите меня, уважаемые, но я вынужден покинуть вас, — произнес он.

— Ни в коем случае, Иона! — преградил ему путь Викенти.

Обводя рукой уставленный яствами стол, Дурмишхан Ражденович пошутил:

— Более неотложного дела быть просто не может!

Но Иона даже не улыбнулся. Его уход не вызвал большого протеста и неудовольствия, поскольку известно, что с такими людьми сидеть за столом одно мучение.

Офелия и Тамаз продолжили прерванную песню, которая Ионе слышна была даже на улице.

Он приостановился и произнес, обращаясь к поющим:

— Пойте, пойте, веселитесь, что вам еще делать! Иона вместо вас и книги прочтет, Иона вместо вас и в театр пойдет... Ну этот Иона вам еще покажет!..

И вновь в квартире Ионы долго, очень долго горела 200-свечовая лампочка. Счетчик аккуратно подсчитывал расходующую энергию. Но кто мог подсчитать ту энергию, которую расходовал Иона для благосостояния мзианетцев!

Как сухие листья, шуршали страницы книг, с исторических хроник слетала вековая пыль, и с большим трудом, в страданиях и мучениях воскресала история прошлых дней.

«Севернее реки на большом лугу стоит город, дворец мтаваров. Величественный, с базиликами, с церковью с куполами. Место красивое, благословенное...»

На исходе ночи Иона открыл окно и, глядя на погруженный в сон мирный Мзианети, угрожающе сказал:

— Спите, спите, дорогие мзианетцы! Я скоро разбужу вас, не будь я Ионой!

Как раз в это время подгулявший Тамаз Гавашели провожал домой Офелию Чкадуа.

— Вы хорошо пьете! — сказала Офелия, искоса глядя на него.

Это начало понравилось Тамазу.

— Я сегодня в ударе... Вы сидели рядом, потому...

— Ну, а теперь уже вы доказали, что вы пьяны.

Отступить было некуда.

— Я и трезвый могу сказать то же...

— А если услышит Иона? — задала вопрос в лоб

Офелия.

Тамаз растерялся. Хоть он и был пьян, но совесть все же мучила его. Он терзался, понимая, что Иона любит Офелию, и Тамаз, как Мурман, встал между ними.

— Я вас слушаю, — напомнила о себе женщина.

Выхода не было.

— Я видел у Ионы вашу фотографию...

— Мою? — недоверчиво переспросила Офелия.

— Да, совершенно случайно увидел в книге.

Это была старая история. Любовь еще только бре-

зжила, когда Офелия подарила Ионе эту фотографию. И теперь, узнав, что он так долго ее держит, она почувствовала удовлетворение, которое тут же сменилось злостью. В самом деле, недоумевала она, если он любит ее, почему ей приходится хвостом ходить за ним.

Молча они шли по улице. А время бежало. Стрелки на японских часах Тамаза медленно, но уверенно отсчитывали время. Догорала ночь, звезды постепенно блекли, бледнела и луна.

Напротив цветочного магазина, где порой изготовлялись и венки, Офелия наконец подала голос.

— Все-таки, что вы затеяли, вы и Иона?

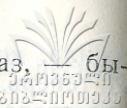
— Вы думаете, я знаю и не говорю?! — попробовал было пошутить Тамаз. — Мы должны разбудить народ, должны отучить его от беспечной жизни...

— И не надоело ему фантазировать! — в сердцах проговорила Офелия. Странности Ионы для нее не были новостью. Ведь сколько раз она заклинала его, просила не выставлять себя на посмешище людям, но он упрямо продолжал свое, что служило лишним доказательством того, что он не любил Офелию. Вполне вероятно даже, что он водился с женщинами легкого поведения.

Тем временем показался дом Офелии. Вопреки ожиданиям женщина холодно распрощалась с Тамазом, чем весьма озадачила его.

Северо-восточнее города, там, где речка Калмахура терялась в море, был большой пустырь, который бездельники прозвали мзианетскими Лужниками. На этом лугу паслась скотина, принадлежавшая жителям пригорода Мзианети. Бог знает, сколько проектов превратить этот пустырь в стадион осталось на бумаге. Но дни проходили за днями, и на зеленом лугу по-прежнему мирно паслись коровы.

Именно на этот пустырь шли рано поутру в воскресенье с лопатами через плечо Иона и Тамаз. Светило солнце, цвели вишни. Дул живительный ветерок. К морю бежала речка Калмахура. И вот вместо того, чтоб выражать восторг от этой красоты, Тамаз рассказывал о вчерашнем застолье, о том, как под конец вино пили уже вазами и охмелевший Дурмишхан Ражденович танцевал с супругой Викенти багдадури (о том, что он, Тамаз, провожал Офелию не было сказано ни слова).



— Вы напрасно ушли, — заключил Тамаз, — было очень весело.

— Веселье кончилось, мы приступаем к делу, — Иона сурово взглянул на Тамаза.

— Что, будем перекапывать этот лужок? — невинно спросил Тамаз.

Иона остановился и воткнул лопату, как копьё, в землю.

— Мы приступаем к археологическим раскопкам, мой Тамаз, — взволнованно проговорил он, блестя глазами. Тамаз слегка струхнул. — Итак, — повысил голос Иона, хотя вокруг не было ни души. — Мы начинаем сегодня великое дело, завершить которое мы поклялись.

— Мы что, вдвоем будем копать? — не скрыл своего изумления Тамаз.

— Пока нас двое, но придет время, нас будет больше.

— Но что мы должны делать?

Иона с силой топнул левой ногой по земле.

— Мы должны отрыть погребенный в недрах земли античный город с сокровищами.

— Тут, на этом лугу?

— Да, именно здесь и только здесь! «Да лигдт дер хунд беграбен» — «Тут зарыта голова собаки!»

— Допустим, мы найдем этот город, а дальше что?

— Как это что дальше? С ума сведет меня этот человек! — Иона и другую лопату воткнул в землю. — Весь мир заговорит о нас, Мзианети станет историческим музеем, участится пульс нашего города... Только так мы сможем проснуться.

Столь веские аргументы могли убедить кого угодно, но Тамаз смотрел недоверчиво.

— Разве нет другого средства протрезвления?

— Боржомом и кофе, — отрезал Иона.

— Вы что, смеетесь?! — обиделся Тамаз. — Я вас серьезно спрашиваю.

— Отвечаю: есть и другие пути, но всему свое время. К решению проблемы номер один мы должны приступить сегодня.

— Но почему именно сегодня?

— Летописец рассказывает, что задолго до рождения Христова именно в этом месте высадились ар-

гонавты, и именно на берегу этой речки раскинули они шатер. В Калмахуре вместо уток тогда плавали суда... А затем тут раскинулся город с крепостной стеной, дворцами...

— Ну хорошо, — сделал вид, что поверил, Тамаз, — но конкретно, где копать?

Выдернув лопату из земли, Иона провел черту.

— Давай высчитаем, дорогой, давай высчитаем... Итак, высадившись на берег, аргонавты раскинули лагерь на берегу реки... «В реке же той были во множестве форель и другая рыба...» «Напрасно ты высматриваешь ее, теперь там даже бычка не найдешь... Проведи от себя линию ко мне лопатой... Так, так... Вот до сих пор. Теперь очертим квадрат...»

— Почему квадрат?

— Ну хорошо, тогда ты докажи, что нужен треугольник.

— А как я это докажу? — пожал плечами Тамаз.

— Тогда слушайся старших... Так на чем мы остановились? На квадрате, не так ли? Так... Прекрасно. Теперь... Ближайшее расстояние между двумя точками есть что? Правильно, прямая. Значит, между углами проведем прямые, и станем копать там, где они пересекаются! Начнем! «Алва иакт эст...»

— Вы говорите...

— Это сказал не я, а Юлий Цезарь: «Жребий брошен», то есть чему быть, того не миновать!

— Откуда вы столько знаете, батона Иона? — удивился Тамаз.

— Как говорили древние византийцы, я знаю, что ничего не знаю.

Они стали копать, но Тамаз все не мог успокоиться:

— А у нас есть разрешение на то, чтобы тут рыть?

— Какое разрешение? — не понял Иона. — Мы что, кооперативный дом строим?

— Все же надо было кому-то сказать, что-то мы очень уж по-партизански начали!

— Кому только я не говорил, мой Тамаз. Но знаешь ведь глас вопиющего...

— Ну, а если мы ничего не найдем? — не унимался Тамаз.

— Я вижу, ты все-таки не веришь, дорогой?

— Да, сомневаюсь...



— Никаких сомнений... Человека создал труд!

Яма постепенно углублялась, вокруг уже были насыпаны небольшие холмики. Из проезжавших машин с любопытством посматривали на работающих.

— Вы что, деревья будете сажать? — крикнул один.

— Нет, могилу себе рою, — спокойно ответил Иона.

Они уже по пояс стояли в яме, когда неподалеку остановилась легковая машина.

— Вы что, могилу роете?

— Нет, деревья сажаем, — ответил Тамаз.

— А где саженцы?

— Вот кончим копать, и саженцы подвезут.

Водитель, ничего не сказав, уехал. Тамаз и Иона очень устали, но не показывали и вида. Пот лил с них ручьями. Тамаз предложил раздеться. На Ионе была выцветшая майка и трусы до колен.

К яме опять подъехала та же машина. Из нее вылез водитель с лопатой.

— Я надеюсь, вы примете меня в свою бригаду?

— Что значит в «бригаду», — удивился Иона.

— Я тоже хочу сажать деревья.

— Мы не сажаем деревья, оставь нас в покое, — закричал Иона, выведенный из терпения.

Но шофер не остался в долгу.

— Я тоже хочу поработать на лоне природы в воскресенье, понятно? — заорал он.

— Да что тебе места мало, что ты привязался?

— А что я, сумасшедший — один копать?!

— Знаешь, что я тебе скажу?! Сумасшедший — я, и давай отсюда!

— Ну хорошо, хорошо, я уйду, — попятился водитель. — Ну а здесь можно?

— Нет, нельзя! Уходи отсюда, не трогай там, где очерчено!

— Это что, частная собственность? — не унимался незнакомец. — Твоя что ли земля?!

— Моя здесь только лопата, — сказал Иона, замахиваясь, — понял?!

— Но, но, только без этого, — уступил шофер и стал копать неподалеку от них. Но несколько раз взмахнув лопатой, он вскоре устал и опять подошел к Тамазу и Ионе.

— Покурить не найдется?

— И выпить тоже нет! — Иона даже не взглянул на него, он доставал землю руками. — Осторожнее, Тамаз, дорогой, осторожнее, возможно, мы наткнемся на могильник.

— Не знаю, как насчет могильника, но трубу вижу! — откликнулся Тамаз.

У Ионы даже дух перехватило: — Где?

Тамаз бережно счищал с трубы землю.

— Вижу, вижу, это, верно, древний водопровод, — Иона стоял на коленях. — Я говорил тебе, Тамаз, говорил... Эврика! Эврика!

На крик прибежал какой-то незнакомый человек, но никто не обратил на него внимания — всем было некогда.

— Тамаз, дорогой, отойди в сторонку и посмотри на меня. Это историческая минута, запомни хорошенько, мы стоим на пороге великого открытия. Сейчас главное — бережное отношение! Сначала надо хорошенько все взвесить, а затем...

Иона размахнулся и ударил лопатой по трубе... И тут ударил фонтан воды.

Мгновенно поняв, что произошло, от неожиданности они замерли.

— Мы, кажется, немного ошиблись, дорогой Тамаз. По-моему, этот водопровод не античных времен, это наш городской водопровод, — Иона был бледен, но не терял присутствия духа, — ничего, ничего, кто не делал ошибок... Древние шумеры говорили...

Незнакомец не дал ему договорить.

— Шумеры, безусловно, что-то говорили, но вот что можете сказать вы — вы же повредили водопровод — оставили город без воды.

Конечно же, по нем плакала палка, но Ионе было не до него.

— А ну, Тамаз, дорогой, помоги, надо перекрыть воду.

— Да что там можно сделать, труба лопнула...

— Осторожнее, дорогой, давай отсюда...

Оба, с головы до ног вывалившись в грязи, трудились не покладая рук, но все старания их были тщетны, — вместо того, чтобы убывать, фонтан становился все больше и больше. Вдобавок ко всему вдруг вне-

запно включилась сирена, вой был словно перед воздушной тревогой. Нервы Тамаза и так уже были на пределе, а еще и эта сирена. Он бросил все и стремительно выскочил из ямы.

— О господи, погибли... Надо бежать, иначе поймают...

Иона едва успел его схватить за щиколотку...

— Ты куда? Бежать нельзя!

— Пусти, — взревел Тамаз.

— Не пущу!

Тамаз сильно дрыгнул ногой и выскользнул из рук Ионы.

— Живым я милиции не сдамся! — он схватил свою одежду и помчался к машине. Водитель автомобиля, еще более напуганный, чем Тамаз, никак не мог завести мотор. Наверно, очень торопился и потому. Он был бледен и трясся как в лихорадке.

— Я так и знал, что случится неприятность, так и знал... У меня такое везение, такая судьба!..

Тамаз, не спросив, что было бы невозможно представить в другое время, закинул в машину свою одежду и с лопатой в руках собрался было сесть сам.

— Куда ты суешься?! — заорал шофер. — Это что, твоя машина?! Я ее на одолженные деньги купил, ясно?!

— Пусти! — яростно пролезал в машину Тамаз.

— Давай отсюда, не то...

— Не то что? — сверкнул глазами Тамаз.

— Матом покрою!

— А я тебе башку расшибу! — Тамаз замахнулся лопатой.

Угроза возымела свое действие. Шофер немедленно успокоился.

— О голове я не беспокоюсь, лишь бы машина была цела!.. Выкинь ты к черту эту лопату, видишь, не пролезает вместе с ней.

Сирена выла безостановочно. Вымазанный грязью Иона, как амбразуру, грудью прикрывал лопнувшую трубу, тщетно пытаясь остановить фонтан воды.

— Тамаз, где ты! На помощь, Тамаз! — взывал он, но у Тамаза были свои заботы.

— Заводи мотор быстрее! — кричал он водителю. — Что ты копаешься, милицию ждешь?!

Наконец мотор взревел, и машина на бешеной скорости сорвалась с места. Теперь сирена послышалась с другой стороны — на место происшествия спешила милицейская машина. Не дождавшись, пока машина остановится, вооруженные милиционеры выскочили из нее. Следом за ними выскочила огромная немецкая овчарка. Блюстителям порядка не пришлось даже спускаться в яму — весь заляпанный грязью, из ямы появился Иона. Он поднял руки и обреченно склонил голову. Как известно, этот жест у всех народов означает сдачу в плен и в переводе не нуждается. Но милицейская собака, по-видимому, только начинала свою службу в милиции, поэтому она, не совсем разобравшись в ситуации, неожиданно вырвалась из рук хозяина и бросилась на Иону. Ее быстро оттащили, но она-таки успела укусить потерпевшего за ляжку. Правда, собаке делали прививки от бешенства, поэтому Ионе уколы делать не пришлось. А что касается порванных штанов, они были такие грязные, что надевать их все равно было нельзя.

Как видите, Иона еще легко отделался. Другому приписали бы если не злостное, то хотя бы мелкое хулиганство, Иона же заплатил штраф. Вот только начальник милиции пригрозил, что о его хулиганском поступке будет сообщено на работу и написано в местной газете.

Многое пережил Иона в то злосчастное воскресенье, но самое большое потрясение ждало его дома. Переступив порог своей квартиры, он обнаружил на полу под дверью письмо без марки. Сердце подсказывало ему, что ничего хорошего от него ждать не приходилось, и все-таки Иона его вскрыл. Вот что сообщало это, написанное левой рукой, письмо: «Открой глаза и оглянись. Твоя любимая Офелия Чкадуа изменяет тебе с твоим молодым другом Тамазом Гавашели. Пора наконец тебе спилить свои рога. Твой доброжелатель.»

Письмо выпало из рук Ионы, и он схватился за сердце.

— Только этого мне еще не хватало! — вырвалось у него. — «Гомо гомини лупус эст» — человек человеку — волк! Мелкие злобные людишки! Провинциальные сплетники! Я вас презираю! Я для вас ничего больше не буду делать!

Он сунул под язык валидол и подошел к окну. На улице шла обычная жизнь: обнявшись, гуляли влюбленные, мальчишки гоняли мяч, у пивного ларька стояла очередь, а заходящее солнце золотило набережную. Все было таким близким и любимым, что тоска отпустила Иону. Нет, нельзя было отказываться от человечества из-за отдельных злобных личностей, человечество нуждалось в спасении, и Иона принял правильное решение.

— Люди, я все равно вас люблю! — как исповедь, прозвучала эта фраза в келье Ионы, и мученик вновь засел за заваленный книгами стол. На белом свитке появились написанные черными чернилами слова: «Археологическая операция провалилась. Сегодня на повестке дня — проблема номер два».

По обыкновению он провел ночь за работой. Утром он почувствовал, что нездоров — болело горло. Но больше чем собственное здоровье его заботило другое — с его смертью умрет план спасения мзианетцев (то, что Офелия не сойдет за ним в могилу, было ясно и так).

Не позавтракав, он пошел на работу.

— Как ваше здоровье, батано Иона? — спросил столкнувшийся с ним у дверей управления Викенти.

— Может, у вас есть еще и другие вопросы?

— Есть, — Викенти приблизил к Ионе свое небритое лицо и перешел на шепот. — Это правда, что, говорят, диверсанты взорвали вчера наш водопровод?

— Это были не диверсанты, это я взорвал!

— Что за шутки, Иона, — усмехнулся Викенти, — жениться не можешь, а туда же! Взорвал водопровод!

Как видите, особой логики в этой фразе не было, но она все же оскорбила Иону, напомнив ему о письме и зародив подозрение, уж не Викенти ли написал его.

На другом конце улицы показался Тамаз, вскоре его догнал Дурмишхан Ражденович (он очень быстро ходил и зимой и летом) и по-дружески спросил, как, мол, дела.

Внимание начальства весьма польстило Тамазу.

— Все в порядке, батано Дурмишхан, — ответил он улыбаясь.

— Да! Я же предупреждал тебя не связываться с

Ионой? — вдруг неожиданно сказал Дурмишхан Ражденович.

— А что случилось? — оторопел Тамаз.

— Я думал, ты более догадлив. Больше думать надо!

Дурмишхан Ражденович холодно поздоровался с Ионой и Викенти, взглянул на свои часы и вошел в дверь управления. Озабоченный холодностью начальника, Викенти последовал за ним. Перед дверью остались Иона и Тамаз. Это была неизбежная встреча. Всю ночь Тамаз мучился, придумывал тысячи объяснений своему поведению, но очутившись лицом к лицу с Ионой, все забыл.

— Здравствуй, Тамаз! — как ни в чем не бывало поздоровался Иона.

— Здравствуйте! — отводя глаза, ответил Тамаз.

— Ты почему такой кислый?

— Разве... разве вас не арестовали?

Иона засмеялся.

— Как видишь, нет. Вот только я немного простудился, нездоров, но, как говорил блаженной памяти Шота: удивляться надо хорошему, а плохому — чего же.

У Тамаза прошел первый страх.

— Я, по правде говоря, батано Иона, повел себя не совсем красиво. Но, понимаете, я так растерялся, что...

— Ничего, мой Тамаз. Путь к великой цели, к сожалению, не бывает усыпан розами... Правда, первая операция провалилась, но впереди нас ждет не менее важная операция номер два.

— То есть...

— То есть я и ты должны с успехом проверить эту операцию.

— А мы... — пролепетал Тамаз.

— Что мы?

— Когда мы должны начать эту операцию?

— Сегодня, — коротко сказал Иона.

— К чему такая спешка? Подождем, пока вы не поправитесь.

— Личное здоровье в таком деле не в счет, — обиделся Иона, — только сегодня!

— Но у меня сегодня дела!

— Все ясно, — Иона поправил на шее кашне и повернулся к Тамазу спиной, горечь душила его.

— Батоно Иона, дело в том, что...

— Я закончил с вами разговор!

Да, это был приговор. Тамаз ничего больше не сказал. И даже встретив в коридоре улыбающуюся Офелию, толком не поздоровался с ней. Целый день на работе он маялся. Раз у него мелькнула мысль уехать из Мзианети. Но взглянув на красное платье Офелии, он отложил решение этого вопроса на неопределенное время.

Самый популярный ресторан в Мзианети назывался «Фантазия». Правда, кутеж там обходился не в одну сотню, но обслуживание было на высшем уровне. Своих почетных гостей мзианетцы всегда водили в этот ресторан. Ко всем этим прелестям в «Фантазии» играл эстрадный оркестр, и, сообразуясь с карманом, вы могли там заказать как национальный, так и зарубежный репертуар.

Не успел вошедший в ресторан Иона устроиться за столиком, как к нему подошел официант с подносом, уставленным пятью бутылками «Цинандали». Бутылки, как солдат, он выстроил на столе в ряд.

— Это уважаемому Ионе от соседнего стола.

— От какого стола? — приподнялся удивленный Иона.

У эстрады сидела довольно большая компания. Тамадой был полноватый лысый мужчина. Он поднялся из-за стола и громогласно на весь зал патетически воскликнул:

— Низкий поклон от нашего стола гордости Мзианети, славному сыну отечества Ионе Кадагидзе!

Славный сын отечества не узнал лысого человека, тот же терпеливо ждал ответного приветствия. Выхода не было, Иона подошел к их столику. Как обычно в таких случаях, один из сидящих наполнил свой наполовину опустошенный стакан и протянул Ионе.

— Большое вам спасибо. Но я пришел сюда не вино пить, — заявил Иона.

Лысый засмеялся удачной шутке, засмеялись и остальные.

— Разве я сказал что-нибудь смешное? — рассердился Иона.

— Ха, ха, ха, а зачем же ты пришел сюда?

Кровь бросилась Ионе в лицо.

— Сейчас увидишь, зачем я пришел сюда, — сказал он и поднялся на эстраду. Испуганный певец немедленно прекратил пение. Замолчал и оркестр.

— Ты выпил, дорогой, и на здоровье! Но зачем же хватать эту железку?! — не выдержал певец, когда Иона попытался отнять у него микрофон.

— Если ты болен, выпей чаю и ложись в постель, — посоветовал один из сидящих в зале.

— Друзья мои, я прошу вас выслушать меня! — начал Иона.

— Тут нет твоих друзей, — высказал недовольство кто-то.

Иона откашлялся и продолжил:

— Не поймите меня превратно... Я не против времяпрепровождения, но если оно в меру... Каждый день же кутить и гулять нельзя!

— Он спятил, этот болван! — приподнялся один, но его не пустили.

Главное было начать — Иона постепенно осмелел.

— Библиотека и театр пустыют, ресторан же всегда полон людьми. Это стыдно, товарищи!

Иона бросил в зал не слова, Иона бросил перчатку. В зале раздались протестующие возгласы.

— Кончай лекцию!

— Скиньте его оттуда!

Встревоженный официант бросился к директору с известием, что явился какой-то сумасшедший, который уговаривает не ходить в ресторан и покупать абонементы в театр.

Шум разрастался, но Иона не выпускал микрофон из рук.

— Ты много читал? — спросили из зала.

— Очень много, — кивнул Иона.

— По тебе заметно!

— Почитай нам тоже что-нибудь! — попросили из-за стола, где сидел лысый.

Иона тотчас же согласился, что ж, это лучше, чем ресторанный музыка.

— Может, ты знаешь стихи под настроение сгорающему от любви человеку? — подмигнул своим друзьям лысый тамада: мол, если развлекаться, так до конца.

— Знаю, — Иона еще раз откашлялся и начал:

Ниноцминда. Ночь в базиликах,

Блещут чаши, вино струится...

Страшен лик твой в пламенных бликах.

Кто ты? Женщина или тигрица?!

Как известно, Автандил песней приручил зверей, но не меньшей силой обладает и поэзия. Шумный зал постепенно затих, все обратились в слух. От такого внимания Иона смелел, голос его окреп:

Пусть любовь, как меч Тамерлана,

Рассечет меня.

Где ты, ночь благоуханна?

Где ты, юная дочь Атабега?!

— Он хоть немного чокнутый, но головастый! — самодовольно оглядел свой стол лысый тамада. — Кто-то, кажется, не хотел, чтоб я послал ему вина?!

— Молодец, дорогой, молодец! — утирал слезы молодой уже подвыпивший мужчина. Стихи, видно, напомнили ему молодые годы, когда он был не женат и возвращался домой, когда хотел.

Иона кончил читать стихи, и зал взорвался аплодисментами. Подвыпивший мужчина подошел к эстраде, вынул из кармана пачку десятирублевых и одну десятку сунул в карман чтецу.

Иона чуть в обморок не упал.

— Да вы что?!

— Бери, бери...

— Ни в коем случае!

— Почему не хочешь, ты их честно заработал?! — обиделся мужчина, когда Иона вернул деньги.

Зал снова зашумел. Директор ресторана и солист оркестра удивленно смотрели друг на друга, не соображая, что же все-таки происходит. Наконец директор, терпение которого лопнуло, подошел к Ионе.

— Довольно, товарищ, хватит!

Требование директора зал встретил недовольными восклицаниями.

— Оставь его в покое!

— Пусть читает еще...

Именно в это время в ресторан вошли Офелия Чкадуа и Тамаз. Это было их первое свидание, и Тамаз предложил отметить это событие бутылкой шампанского.

Вы, читатель, верно, догадались уже о том, что между Ионой и Офелией пробежала черная кошка. Офелия жаждала мести, иначе могла ли она, первая красавица Мзианети, пойти с вчерашним знакомцем в ресторан? Справедливости ради надо сказать, что вначале Офелия была против посещения ресторана, мотивировала она свой отказ тем, что у нее дурное предчувствие. Но Тамаз не верил дурным предчувствиям и, как увидим ниже, без всяких на то оснований.

Войдя в ресторан, они первым делом огляделись в поисках укромного уголка, устроившись же, взглянули на эстраду и... лучше б они не глядели!

— Что ему тут надо?! — испугался Тамаз.

— Да, это Иона, — как можно спокойнее произнесла Офелия, но, несмотря на это спокойствие, ей никак не удавалось развернуть меню, так дрожали у нее руки.

Тамаз привстал:

— Я думаю, нам лучше пойти куда-нибудь в другое место.

— Боишься? — из-под накрашенных ресниц взглянула на него Офелия. — Он уже нас увидел, а хуже этого произойти ничего больше не может.

— И все же оставаться не стоит, — не согласился с ней Тамаз.

— Хорошо, уйдем, но немного погодя.

Иона оглядел зал, затем поднял руку, успокаивая расшумевшихся людей.

— По вашей просьбе, друзья, я прочту вам еще одно стихотворение.

— Но только про любовь! — потребовал слезливый мужчина.

— Ну что же, про любовь так про любовь, — согласился Иона и с печальной интонацией прочел:

Венчалась Мери в ночь дождей,

И в ночь дождей я проклял Мери.

Не мог я отворить дверей,

Восставших между мной и ей,

И я поцеловал те двери.

Офелия сидела ни жива ни мертва, ей казалось, что все смотрят на нее...

— Ну чего ты ждешь, идем! — предложила теперь уже она Тамазу.

— Послушаем еще немного, он же прекрасный декламатор.

Дольше Офелия терпеть не могла, еще немного и она свалилась бы без сил.

— Ну если не идешь, я уйду одна! — решительно произнесла она и вышла из зала.

Тамаз последовал за ней. На улице он признался, что не ожидал увидеть Иону в таком виде.

— Думаешь, он пьян?

— Но ведь нормальный человек не станет в ресторане читать стихи?

— По-твоему, нормальные ты и я, да?

— Почему ты сердишься? — удивился Тамаз.

— Потому что ты не дал мне выпить шампанского.

— Теперь я понял, почему Иона читает стихи в ресторане... Операция номер два... — проговорил про себя Тамаз.

— Что, что?

— Ничего... Я очень виноват перед Ионой!

— Не ты, а я виновата перед Ионой, я виновата во всем! — Если б она была одна, она непременно расплакалась бы.

В ресторане же Иона тем временем заканчивал стихотворение.

А дождик лил всю ночь и лил

Все утро, и во мгле опасной

Все плакал я, как старый Лир,

Как бедный Лир, как Лир прекрасный.

В зале воцарилась печальная пауза, и в этот момент директор подал знак оркестру. Оркестр заиграл «Ча-ча-ча», и люди привычно зашумели и задвигались.

Воспользовавшись этим, директор и официант подхватили под руки Иону и, невзирая на его протесты, выставили на улицу.

В тот день на свитке появилась новая запись: «Операция номер два потерпела поражение. На повестке дня — операция номер три».

Все мало-мальски значительные учреждения Мзиднети располагались на главной улице. В эту улицу, как ручейки в реку, вливались другие, неглавные улицы с маленькими домами на них. Из этих домов до учреждений было пять минут ходу, но, как мы уже отмечали,

на работу самолюбивые мзианетцы ездили на машинах. Такси набивало всего лишь двадцать копеек, но у всех были припасены рублевки для водителей. Собственных же машин было столько, что их могло хватить не то что на Мзианети, а и на любой большой город. Одним словом, в городе было больше машин, чем людей.

Рабочий день только начинался. Было без пяти девять, когда на перекрестке главной и неглавной улицы, как инспектор, стал Иона Кадагидзе, жестом предлагая остановиться всем ехавшим на автомобилях.

Визг тормозов и ругань шоферов слились в одно целое.

— Себя не жалеешь, нас пожалей!

— Где ты с утра успел нализаться?

— Он не пьяный, сумасшедший! — узнал его один из водителей такси.

— Постой, это же Иона! Тот самый, что пожалел рубль и не посадил своего гостя ко мне в машину, не правда ли?

Иона нетерпеливо отмахнулся, не до того, мол, сейчас.

— Хорошо, что было, то было, — простил его шофер, — но с чего ты взбесился рано утром?!

— От вашего поведения еще не так взбесишься, — закричал Иона так, чтобы слышали все.

— А что мы такого сделали, нарушили, что ли? — спросил один молодой водитель, который испугался, уж не общественный ли инспектор Иона.

— Правила уличного движения вы не нарушали, но вы нарушаете правила человеческой жизни.

— Слушай, будь другом, говори понятнее, не такие уж мы образованные, — попросил его шофер такси.

Иона еще более повысил голос:

— Нельзя двадцать четыре часа в сутки сидеть в машине!

Водители обступили Иону кольцом.

— Почему это «нельзя»?

— Потому что от неподвижного образа жизни вы жиреете, у вас отрастает брюшко, случаются инфаркты...

— Я сейчас так тебе врежу, сразу инфаркт схлопочешь! — немедленно последовала угроза.

Словно бы не слыша, Иона продолжал:

— Разве можно ездить на машинах в этом крошечном городе?! Надо ходить пешком...

— Ты что, и вправду спятил? — серьезно спросил водитель такси.

— А я говорю вам: ходите пешком, ясно?

Беспредметный спор быстро наскучил шоферам, они все уселись в машины и дружно загудели.

— Отойди!

— Не отойду!

— Уходи, а то я за себя не отвечаю...

— Не уйду, — Иона, как памятник, стоял на перекрестке.

Шофер такси подал назад машину и сказал:

— Ну смотри, в последний раз предупредил...

Назревала критическая ситуация, многие поспешили уйти от греха подальше, кто-то предупредил водителя: смотри, и впрямь не задави, мол.

Отъехав назад, таксист вдруг газанул и понесся на Иону. Иона тотчас растянулся на мостовой и собственным телом закрыл дорогу машине. Шофер затормозил прямо перед его носом. Все произошло в мгновение ока. Решив, что машина переехала человека, люди стали кричать:

— Ты что сделал?

— Убили, человека убили!

— Несчастный, человека убил!

К крикам мужчин прибавились и причитания женщин. В общем крике послышался и голос подоспевшей Офелии Чадуа, которая царапала розовые щеки только что наманикюренными ногтями.

— Прости меня, Иона, я, я виновата во всем!

Если б даже Иона был мертв, рыдания такой красивой женщины оживили б его. Но, как я уже говорил, Иона был совершенно невредим. Люди не поверили своим глазам, увидев его вылезавшим из-под машины.

— Да он, оказывается, жив!

— Надо было б и впрямь задавить его, ему бы не повредило.

Иона многозначительно посмотрел на рыдающую Офелию и повернулся к водителям.

— «Терциум нон датур».

— Ну-ну, не ругайся!

— Я вас предупредил — другого выхода нет! Будете ходить пешком или нет?

Шофер такси еще не совсем пришел в себя.

— Господи, что я тебе сделал? Что ты ко мне привязался рано поутру?

— В конце концов, где милиция? — догадался наконец кто-то.

К месту происшествия подъехал мотоцикл с коляской. Иона даже не оказал сопротивления, когда два милиционера на глазах гуляющей публики (на глазах Офелии Чкадуа!) посадили его в коляску и повезли в отделение.

В милиции Иону встретили, как старого знакомого. И на этот раз он отделался штрафом, но у него взяли подписку, что он предупрежден — еще один подобный случай, и ему не миновать тюрьмы.

Иона безмолвно выслушал наставления блюстителей порядка, не пробуя даже оправдаться, да и смысла в том не было. На улицу он вышел в прескверном настроении и даже не заметил поджидавшую его Офелию Чкадуа.

— Добрый вечер! — поздоровалась с ним женщина, которая в знак траура была уже в черном платье.

Иона растерялся: — Добрый вечер!

На лице его было такое отчаяние, что Офелия, забыв обиды, участливо спросила, не плохо ли ему.

— Да, очень плохо, — подтвердил Иона.

— Болит что-нибудь?

— Сердце.

Офелия открыла сумочку: — На, вот валидол.

Иона мотнул головой: — Валидол мне не поможет.

Сказав это, он повернулся и пошел, женщина пошла за ним. Приостановившись, он спросил: — Зачем ты идешь за мной?

— Потому что я тебя люблю, — сказала женщина. И быть может, она была искренна в тот миг, разве поймешь женщин?! Иона, например, их не понимал.

— Оставь меня! — попросил он.

— Не могу, тебя нельзя оставлять одного.

— Что ты привязалась, сказано тебе — уходи! — не выдержал Иона.

Словно грянул гром — Офелия почернела, как ее платье, но ответила как можно спокойнее:



საქართველოს
რეპუბლიკის
საქართველოს
საქართველოს

— Оказывается, все, что говорят, правда.

— А что говорят?

— Люди говорят, что ты спятил.

— Я презираю ваших людей, — процедил сквозь зубы Иона.

Сдержанность покинула Офелию.

— Смотри ты, презирает! Да иди ты к черту! Чтоб ты шею себе свернул, чтоб ты в живых не остался! Испортил мне молодость, жизнь, наконец!

Но Иона уже не слышал проклятий. С тяжелым сердцем он шел по набережной. Но вопреки ожиданиям, думал не о самоубийстве.

— Люди, вы не пожалели меня, но я все же люблю вас... Мне осталось провести еще один эксперимент... Проблема номер четыре должна быть разрешена!

Иона Қадагидзе вошел в магазин школьных принадлежностей.

— Мне, пожалуйста, звонок... — сказал он продавщице.

— Звонок спросите в электромагазине, — вежливо ответила она.

— Мне не электрический, мне обычный, — объяснил Иона.

Продавщица не поняла:

— Что значит «обычный»?

— Ну такой, в какой звонили раньше в школах.

— Понятно, но в школах звонят в электрический звонок.

— Слушайте, мне не нужен электрический, что вы ко мне пристали, — вскричал раздосадованный Иона.

Во всех магазинах Ионе отказали — обычных звонков нет! В конце концов кто-то надоумил его обратиться к мусорщику. Совет оказался мудрым — за весьма сходную цену Иона приобрел колокольчик.

Тем временем стемнело. Как обычно, к девяти часам жизнь в городе замерла. Затем наступила обычная мзианетская ночь, и сознательная часть населения приготовилась отойти ко сну. Это было приблизительно тогда, когда из ресторана уходили последние гуляки, а по телевизору кончилась двадцать пятая серия приключенческого фильма.



Супруга Викенти выключила телевизор:

— Ты что, спать не собираешься? Посмотри, какой час?!

Викенти взглянул на часы:

— Ого, уже десятый!..

Постепенно в домах один за другим гасли огни. Погасло последнее окно, и на улицах Мзианети послышался продолжительный звон колокольчика и крик:

— Не спите! Не спите! Не спите!..

Да, голос этот, вы догадались верно, читатель, принадлежал Ионе Кадагидзе. В руках он держал большой колокольчик, которым пользуются мусорщики и в который он непрерывно звонил:

— Не спите! Не спите!

Услышал звон и Викенти, но вставать было лень и он разбудил жену, спросить, что случилось.

— По-моему, пришла мусорная машина, — недовольно проговорила супруга Викенти.

— В такое время?!

— Встань и посмотри, если не веришь!

Любопытство все же пересилило лень, и муж с женой подошли к окну.

— Не спите! — Слышалось на улице: — Не спите!

— По-моему, это наш Иона, — узнал Викенти.

— Чего же он орет как оглашенный, жена из дому что ли выгнала?

— Да он не женат.

— Тем более, что ему дома не сидится?!

— Он никогда не был особенно нормальным, но сейчас, видно, совсем, бедолага, спятил! — заключил Викенти и в пижаме вышел на балкон.

Высыпали на балконы и другие жилыцы. В окнах зажглись огни.

— Не спите! — кричал на улице Иона.

Долее терпеть было нельзя. И от имени всех слово взял Викенти.

— Объясни нам, почему мы не должны спать, Иона Кадагидзе?

— Столько спать нельзя, и потому, дорогой Викенти! — послышался снизу ответ.

Оскорбленный столь фамильярным к нему обраще-

нием, Викенти излил свою злость на жену, почему, мол, она полуголая вышла на балкон.

— А почему нельзя? Объясни нам все же, — заинтересовался сосед Викенти по лестничной клетке Клименти Гаручава по прозвищу «Двастакана».

— Нельзя потому, что вы вырождаетесь, покрываетесь плесенью, — объяснил Иона.

— Если ты и этого не знаешь, Клименти, плохи твои дела, — засмеялся кто-то.

Иона вновь зазвонил в колокольчик:

— Читайте книги, мечтайте!

— Нет, он окончательно спятил, этот несчастный!

— Викенти взялся за телефон. — Позвоню-ка я в психиатричку, пусть приедут поскорее, все же Иона мой сотрудник.

А на главной улице Иона вновь звонил в колокольчик:

— Не спите!

— Читайте книги!

Звон достиг и квартиры Офелии Чкадуа, но она проснулась еще раньше от кошмарного сна. Во сне она видела Иону, лежащего в гробу, а люди вокруг вместо того, чтобы плакать, смеялись! Когда она, выйдя на звон колокольчика, увидела под балконом Иону, не поверила глазам, решила, что продолжается сон.

— Ходите в театр, читайте книги! — наставлял мзианетцев Иона Кадагидзе.

Нервы Клименти Гаручава сдали, и он пригрозил сейчас же засадить за книгу самого Иону. Вынеся из дому таз с водой, он перевернул его на голову Ионе, со всех балконов раздался хохот. Другой на месте Ионы побил бы камнями стекла у Клименти Гаручава, он же как ни в чем не бывало звонил в свой колокольчик и кричал:

— Читайте книги, ходите в театр!

— Не спите!

На главной улице показалась мчащаяся на большой скорости машина «скорой помощи»...

На общем собрании в кабинете Дурмишхана Ражденовича разбирался вопрос Ионы Кадагидзе. Иона, как обвиняемый, сидел в углу. Речь держал Дурмишхан Ражденович.

— Положение, товарищи, очень серьезное. Затро-
нута честь не только нашего управления, но и всего
Мзианети.

Иона выглядел абсолютно спокойным. После вче-
рашнего приключения сегодняшнее собрание казалось
ему просто развлечением, и он старался относиться ко
всему с юмором.

— Весьма прискорбно, товарищи, что Иона пошел
против всего города, против узаконенных норм жизни,
правил человеческого общежития и своим хулиганским
поведением вызвал возмущение всех честных трудящих-
ся.

— Но что я сделал такого? — привстал Иона.

— Он еще спрашивает, — развел руками Дурмиш-
хан Ражденович, — пожалуйста, сударь, отвечаю: кто
повредил водопровод? — Иона. Кто куролесил в ресто-
ране? — Иона. Кто перекрыл движение на улице? —
Иона. Кто звонил ночью и не давал людям спать? —
Иона. Нет, товарищи, я думаю, пора решить вопрос:
достоин ли такой человек быть членом нашего монолит-
ного коллектива?

В ответ на поставленный в лоб вопрос все молча
опустили головы, делая вид, что заняты своими мысля-
ми. Офелия Чкадуа приподнялась было, чтоб сказать
что-то, но ее опередил Иона.

— Не стоит беспокоиться, я всех освобождаю от
обязанности выносить мне приговор: с сегодняшнего дня
я сам отказываюсь быть членом вашего коллектива.

Иона поочередно оглядел всех. Только Офелия Чка-
дуа смело встретила его взгляд, в глазах ее сверкали
алмазные слезы. Но, увы, они запоздали! Иона уже
принял решение.

— Я отказываюсь быть не только членом вашего
коллектива, но и гражданином Мзианети!

— Иона, опомнись! — крикнула Офелия, но бывший
гражданин Мзианети уже шел к двери.

— Спите спокойно, дорогие мзианетцы, приятных
вам сновидений! Люди, я вас любил... Почему вы пре-
дали меня, что я вам сделал?!

Это были последние слова Ионы Кадагидзе. Офе-
лия Чкадуа упала в обморок, и Тамаз Гавашели побе-
жал за водой.

Вечерело. С утра не переставал идти дождь. По случаю дождя город заснул раньше обычного, и идущий к центру «скорый» без музыки тронулся с мзянетской станции.

У окна одного из купе пятого вагона стоял человек в черных очках и бездумно смотрел в ночь.

Поезд медленно отходил от платформы. А дождь все не унимался: лил на подсобные помещения вокзала, табачный киоск, мастерскую по ремонту обуви, киоск безалкогольных напитков... Когда при свете электрического фонаря показался мокрый асфальт главной улицы города, в купе ворвались крик и звон колокольчика. Мужчина в черных очках стремительно спустил вагонное окно и прислушался, на улице толпился народ, все звонили в колокольчики и громко кричали:

— Не спите! Читайте книги!

После некоторого колебания мужчина в черных очках схватил чемодан и выпрыгнул из вагона. Упал он неудачно, но ничего себе не повредил. Поднявшись, он успел только увидеть огоньки последнего вагона «скорого», идущего к центру. Дождь лил сплошной стеной, а на улице по-прежнему звонили колокольчики. Мужчина в черных очках открыл чемодан, достал оттуда колокольчик и присоединился к идущим впереди.

— Не спите!

— Не спите!

— Не спите!

Теперь уже три голоса боролись с темнотой. Звонили колокольчики. Их звон, несмотря на дождь, разносился далеко окрест. Народ просыпался. Вновь зажглись погашенные окна и в городе стало светло.

Перевод Наны ПХАКАДЗЕ

Из книги „Древо жизни“

Мне снится Грузия:

 простор небесный,
 Где птица белая кружится в вышине,
 Героев Картли из старинной песни
 Бряцанье острых сабель слышно мне.

Казалось, вряд ли участь есть иная...
 Так много горя выпало, обид!
 Не только из учебников я знаю,
 ЧТО наши судьбы на земле роднит.

Мне снится Грузия:

 там горы снежны,
 Там пропасти, где так легко пропасть.
 Лишь издали узоры пиков нежны,
 Зато вблизи — разинутая пасть.

И в сумерках мне слышен тихий голос,
 Где тень скалы в долине словно храм.
 Чюрлёнис там...—не разберу—Венуолис
 Там, на вершине, молится горам?

Мне снится Грузия:

 как на чеканке —
 Миндальные глаза, бровей разлет, —
 Блеснет невинный, чистый взгляд
 горянки,
 И не поэт стихами запоеет.

Поклон мой низкий красоте кавказской,
 Что каждый раз, как чудо, снится мне.
 Ах, если б столько роз иметь, как в
 сказке,
 Чтоб не дарить их каждой лишь во сне!

Мне снится Грузия:

Мои следы там
Оставлены семь раз среди других,—
И всякий раз по тропочкам извитым
Лечу, друзей увидев дорогих.

В их доброте для сердца черпал силы.
Благодареньем сны напоены:
Примите эти строфы как спасибо —
Они скромны и все любви полны.

КРАСНАЯ ГВОЗДИКА

Памяти Тициана Табидзе

Говорили, похож был ты
На патриция, и глаза лишь —
Как две капли морской воды —
Небом выкрашенными казались.

Ты вбирал в свое сердце все,
Чем поэта земля питала,
Ночью лунной, забыв про сон,
По тбилиским бродил кварталам.

Ты прикалывал ко груди
Неизменный огонь гвоздики,
Весь, как струны, звуча, бродил
По нагорьям родным и диким.

Ты в застолье был тамадой,
Средь друзей певуном известным!
Дружбу ты называл святой
И с изменою несовместной.

Ты ль не веровал в гул страны,
Только кто-то тебе не верил. —
Это участь звучащей струны:
Рвет призывную северный ветер.

Всвистнет пульей... Уйдет зима,
Стих весенним ручьем прольется...
А скажи мне, сыра земля,
Где хранишь ты поэта солнце?

Где?... Вокруг только тишь да гладь —
Все холмы под цветами тонут,
Никому уже не сорвать
Ярко-алых твоих бутонов.



Все до капли земля вберет —
Заалеют снежинки тихо...
Нет, не умер поэт, не умрет,
Даже если пулей — в гвоздику!

ЛАСТОЧКА ДЖВАРИ

Криком ласточка меня встречала
В знаменитой крепости одной.
Озирался, не поняв сначала,
В чем причина? Кто тому виной?

Мечется вокруг (опасность чувствует?),
В резком крике жертвенность и страх.
Успокойся, милая, — шепчу ей, —
Я всего лишь гость в твоих краях...

Вдруг на башне, под высокой крышей
(Никакой бы враг достать не смог)
Я ее гнездо увидел. Ишь ты! —
Вот она, причина всех тревог.

Для чего, казалось, время дарит
Одиноким стенам бремя лет...
Гнездышко! Оно для птахи—Джвари,
Для нее дороже в мире нет.

И пока отважно в небе кружит
Ласточка над будущим своим,
Мы щитом, щитом ему послужим,
Мы своею грудью защитим!

Перевод с литовского Осипа СПАСОВА.



ПОСЛЕДНЯЯ КОЗА

РАССКАЗ

То, о чем я хочу рассказать, случилось в нашей деревне в ту далекую пору, когда там только-только начинали разводить чай. Это сейчас она чаем знаменита, и, надо сказать, многие семьи своим нынешним благосостоянием именно ему обязаны. Но тогда на затянувшемся далеко за полночь общем собрании колхозников нелегко было районному руководству вместе с председателем колхоза Геронтием Пайчадзе и прибывшим специально для возделывания этой культуры молодым агрономом убедить сельчан заняться разведением чая.

В сложившейся ситуации Геронтий чувствовал себя не лучшим образом, так как сам до этого в райкоме и в управлении доказывал, что в их деревне чай не пойдет, крестьяне им заниматься не будут, что посадив его на обширном пологом участке, занятом сейчас кукурузой, колхоз и чая не соберет, и кукурузу потеряет.

Доводы, что в Гора-Бережоули чай возделывается уже почти сто лет, он отвергал, но начальство стояло на своем, и тогда скрепя сердце Геронтию пришлось согласиться, тем более, что его согласия, собственно говоря, и не спрашивали. Председателя просто ставили в известность, что отныне ему придется заниматься и чаем, и это он должен рассматривать как важное партийное поручение.

Геронтий, прошедший школу большевистского подполья и революционной борьбы, привык беспрекословно подчиняться партийной дисциплине и сейчас так же горячо, как до этого спорил в райкоме, отказываясь от возделывания чая, убеждал односельчан проголосовать за него.

Описывать все перипетии обсуждения и последующего голосования не буду, скажу только, что далеко за полночь, хотя и не единогласно, собрание решило отвести под чай лишь небольшую часть занимаемой сейчас кукурузой площади, а остальную площадь получить за счет вырубки и расчистки прилегающего к деревне обширного лесного массива, прибежища шакалов и диких кошек.

Это решение и сказалось, пожалуй, на результатах голосования, так как в случае неудачи с чаем, колхоз все же оставался в прибыли, сразу в несколько раз увеличивая площадь пригодной для возделывания кукурузы земли. К тому же районные власти обещали помочь техникой и людьми.

Не последнюю роль сыграло и то, что в ходе расчистки колхоз получал строительный лес, который можно было использовать как в своем хозяйстве, так и для продажи, а колхозникам доставались бесплатно дрова. Короче говоря, сработал принцип материальной заинтересованности. А коли так, то и дело пошло очень споро.

Но весной, когда взошли первые молодые побеги посеянного осенью чая, неожиданно остро встала новая проблема. У глянцеви́то поблескивающих кустиков, на которые многие уже стали смотреть с явной симпатией, появились грозные враги в лице деревенских коз.

Коза вообще животное очень самостоятельное и неприхотливое, а в наших краях особенно. Летом в окрестностях недостатка в кормах для них нет, а вот зимой козы подбирают все, что только возможно, в бескормицу начисто обгладывая кору с деревьев. Поэтому-то неудивительно, что после снежной, холодной зимы чайные всходы пришлись козам по вкусу, да настолько, что под угрозой оказалось будущее чайной плантации. На раздумия времени не было — вывод напрашивался однозначный. Надо было срочно избавиться от коз, пока те не уничтожили чай. Первым эту мысль высказал Геронтий и, не откладывая дела в долгий ящик, вынес вопрос на правление колхоза, которое приняло постановление — всех коз в селе ликвидировать. Каким образом это сделать, решали сами владельцы животных, но сроки были даны очень жесткие, а

за исполнением постановления следило правление во главе с Геронтием.

Некоторые сельчане, не желая расставаться с козами, пытались прятать их у себя по дворам, но попробуйте вы удержать взаперти это животное. И для коз наступили черные дни.

По всей деревне во дворах сушились козьи шкуры и в то лето, я думаю, заготовители намного перевыполнили планы закупки кожи.

Только Эленэ, несмотря на строгое предупреждение, никак не хотела расстаться с козой. Ранним утром она гнала козу в лес, стерегла ее там, пока та паслась привязанная на длинную веревку, а вечером потихоньку приводила домой. Геронтий, конечно, знал об этом, но, не решаясь отнять источник молока у пятерых малолетних детей работающей вдовы, делал вид, что ничего не замечает. И надо сказать, что не только Геронтий, но и все лишившиеся своих коз односельчане не роптали на вдову.

Со временем женщина, как видно, устала каждое утро ни свет ни заря вести козу в лес, бросая дома массу неотложных дел, которыми она теперь была вынуждена заниматься ночами, и заботу о козе поручила двоим старшим детям, которые, забрав козу, как заправские пастухи, уходили на целый день в лес, и надо сказать, что поначалу это похожее на таинственное приключение поручение детям нравилось настолько, что и без строжайших наказов они относились к своим обязанностям очень добросовестно, не отлучаясь от козы ни на шаг.

А чайные кусты между тем набирали силу. Любодорого было смотреть на протянувшиеся ровными рядами, невиданные здесь прежде диковинные растения.

Лето уже полностью вступило в свои права, принося с собой обычные для этого времени года хозяйственные хлопоты, и погода стояла прямо как на заказ. Короткие, обильные, поившие землю дожди сменялись жаркими погожими днями. Дружно пошла в рост кукуруза, а в садах под тяжестью зреющих плодов все ниже к земле клонились ветви фруктовых деревьев. Все ждали хорошего урожая, и постепенно о козьей эпопее в деревне стали забывать. А козой Эленэ сельчане даже гордились, подшучивая и нередко сами становясь объе

ктом шуток для жителей окрестных сел, тоже приступивших к разведению чая и потому уничтоживших всех коз. И Эленэ уже совсем успокоилась.

Однажды в середине лета где-то уже за полдень Эленэ непонятно отчего вдруг стала нервничать. Все валялось у нее из рук и, томимая неясным тяжелым предчувствием, она поспешила на поляну, где дети обычно пасли козу.

Еще издали она заметила метнувшися в кусты тени и, похолодев от страха, не разбирая дороги, бросилась к поляне.

Представшая перед ней картина была ужасна — по всей поляне среди окровавленной травы валялись свежеобглоданные розовые кости...

И тогда, не помня себя от ужаса, Эленэ побежала назад в деревню, и над домами разнесся душераздирающий крик насмерть перепуганной женщины. Так в наших краях кричат только по покойнику.

О гурийцах даже у нас в Грузии говорят, что они шумный народ, и доля истины здесь есть, но очень небольшая доля. Ведь то, что многие принимают за шумность, всего лишь привычка громко разговаривать, и этому, разумеется, есть своя причина.

Дело в том, что в гурийских селах дома находятся, как правило, на значительном удалении друг от друга, и наши женщины, не утруждая себя излишними визитами к соседкам, обычно обмениваются свежими новостями и справками по хозяйству, перекрикиваясь между собой. Таким же образом общаются и мужчины, обрабатывающие расположенные на склонах гор, удаленные друг от друга участки земли. И этот способ общения настолько входит в привычку, что, собравшись вместе, они продолжают разговаривать так, будто все еще находятся далеко друг от друга. Вот из-за этого несведущий человек, особенно не знающий грузинского языка, и может подумать в такой момент, что они ссорятся между собой, в то время как там идет самая что ни есть мирная беседа. Ну а уж если гурийка кричит — этот крик описать невозможно. Вопли скорбящей гурийки несутся, холодя душу и пугая, достигая самых отдаленных уголков села. Вот так и кричала сейчас Эленэ.

Сбежавшиися на вопли сельчане увидели ее растрепанной, с распущенными волосами, с исцарапанным в

кровь лицом. А это могло означать лишь одно — случилась беда с кем-то из близких Эленэ людей.

В деревне все знали, что ее старшие дети были приставлены к козе и в течение всего дня находились с нею в лесу, и вот сейчас несчастная вдова проклинала себя за то, что погубила их из-за козы.

Еще не поняв толком, что произошло, люди бросились в лес и там увидели страшную картину, приведшую в ужас несчастную Эленэ.

Женщины подхватили вопль вдовы, да так, что у тех, кто его тогда слышал, и сейчас мороз по коже дерет при одном лишь воспоминании.

На шум и крики прибежала с речки купавшаяся там детвора, и здесь кто-то заметил прятавшихся за спинами своих товарищей старших детей Эленэ, которых она сейчас оплакивала.

Оказывается, оставив в лесу без присмотра накучившую им козу, ребята отправились на речку, где плескались под жарким солнцем в холодной горной воде их сверстники, а тем временем от козы ничего не осталось, кроме костей и обглоданного черепа с небольшими рожками. Козой полакомились шакалы...

Еще и сейчас, пройдя мимо дома, в котором когда-то жила Эленэ, вы сможете увидеть прибитые над дверью летней кухни выбеленные временем, изящно загнутые рожки последней в нашей деревне, пострадавшей из-за чая козы. Но настоящий финал этой истории наступил поздней осенью, когда Геронтий откуда-то привез и собственноручно доставил во двор Эленэ белоснежную молоденькую козочку, ставшую впоследствии родоначальницей многих имеющих сегодня в нашей, да и во многих окрестных деревнях, коз.



* * *

Трудна руки моей отвага —
пробиться в плотный складень дня,
где на столе лежит бумага
и терпеливо ждет меня,

где предначертаны судьбою
прием лекарства и режим,
где каждый день берется с бою,
где каждый вдох — душе зажим.

И все-таки ведет отвага
меня сквозь толщу дней и лет:
я знаю — ждет меня бумага —
и страха нет. И смерти нет.

Нередко — во сне и наяву — виделось мне потонувшее в воде ущелье, окутанное голубым туманом; нередко — во сне и наяву — считал я отраженные в воде россыпи звезд... И неожиданно все это всплывало предо мной, когда я читал какую-нибудь книгу — книгу, написанную кровью и слезами, и про себя, тихо восклицал: нашел, да, я нашел именно то, что будоражило меня, не давало покоя, что привиделось мне на мгновение и тотчас растаяло, исчезло.

Подобное или схожее с этим ощущение владело мною, когда я читал журнал «Юность», мне казалось, что все это я уже чувствовал, переживал как ирреальное, прекрасное, и потом все это исчезало в необозримом сиянии..

И когда я узнал, что автор опубликованных в «Юности» стихов, ярко вспыхнув на небосклоне поэзии, угасла, как упавшая звезда, еще бо́льшая грусть овладела мною, прекрасная, исполненная величия грусть. Красоту можно увидеть всюду и во всем, даже в самой смерти.

Да будет благословенна Красота во веки веков!

Джансуг ЧАРКВИАНИ



Ну наконец-то я к земле прижмусь!
 Мне тридцать семь, а я давно забыла,
 как пахнет клевер... У безглазых муз,
 сонливых и нервозных, я гостила.

А здесь — земля. Ее дыханье — пар,
 ее одежда — зелень ветровая.
 Здесь гонки городской густой кошмар,
 купаясь в воздухе, я забываю.

Здесь лук на грядке. Здесь котенок спит.
 Здесь луч прозрачен и роса прозрачна,
 здесь сердце, заскорузнув от обид,
 готово всех простить: глухих, незрячих

и очерствелых. Я им не судья.
 Мне б только длить дыханье и движенье,
 мне б только погружать все глубже зренья
 в земные кладовые бытия.

Топча асфальты душных городов,
 прости, Природа, что преступно долго
 от бегства под живительный твой кров
 меня удерживало чувство долга.

Зато теперь я, как праматерь Ева,
 могу дать волю чувствам и словам
 и растекаться — «мыслею по древу»,
 а взглядом — по листве и по ветвям.

* * *

Любовь моя! Опять разлука.
 Набор давно привычных чувств.
 Опять лицо свое хочу
 спасти улыбкой от испуга.

Смеяться, улицей скользя,
 вдыхая воздух невесомый,
 казаться юной и веселой,
 спешить к придуманным друзьям, —

Но приходите и повторять,
к глазам приблизившись глазами:
«Опять пространство между нами,
любовь моя, опять, опять...»

* * *

О, как мы устаем. Спаси нас, тишина,
от длинных спиц блестящего вращения,
от смены встреч, прощаний и прощений,
от мыслей горестных, что жизнь подчинена
слепому плаванью по радужным кругам
случайных обстоятельств, нетерпению
и долгой беготне по пустыкам.
Спаси нас, тишина. И научи уменью
в потоке замереть и видеть их — летят,
летят по линиям касательным к душе,
остановившейся в толпе настороже,
чтоб встретить их и заключить в объятия, —
летят, летят ее родные братья,
и на лету их крылья шелестят.

Пройдут часы. И вечером спадет
завеса из блестящего вращения
велосипедных спиц. И отпадет
тоска. И вдруг невнятное волнение
толкнется в грудь. И внутренним чутьем
поймешь, что одиночество чреватое
присутствием единственного брата,
чье сердце в доме умерло твоим.

* * *

Любовь кончается. Болит душа.
Сквозь пальцы ускользают мои рифмы.
Но эта боль не стоит ни гроша —
игрушечный корабль разбит о рифы.

Но все равно, спасибо, что ты был,
кораблик мой, построенный без правил.
Но все равно, спасибо, что ты плыл
по синей по воде — и петь меня заставил.



Я у ночи отнимаю тишину,
утешенье, одиночество.
И к поверхности молчания тянусь
я руками полуночными.
В этом лучшем и легчайшем из миров
я корабликом у пристани
затихаю, забываюсь — и перо
пишет медленней и пристальней.
Но когда-нибудь, в последний самый день
не останусь я у берега,
а уйду по звездным бликам на воде,
наступая на них бережно.



Пройдут часы и вередом придет
Тогда асфальт, выжженный солнцем,
архив, Природа, Наследие
от Божества, грядущее, грядущее
жизни, грядущее, грядущее
откуда-то откуда-то откуда-то
Знаю теперь, грядущее, грядущее
могу дать, грядущее, грядущее
и расстаться — грядущее, грядущее
и грядущее — грядущее, грядущее

Любовь кончается, болит душа
Сколько раз, сколько раз
Набор слов, набор слов
Слова, слова, слова
спасения, спасения
Но все равно, спасения, спасения
Смеяться, смеяться
дальше, дальше
Но все равно, спасения, спасения
по сцене, по сцене
спасения, спасения

Разлука

На судьбу за разлуку не стоит пенять
нам с тобою — что было, то было,
и быльем поросло, да и как не понять,
почему она нас разлучила.

Значит, мы и вдвоем оставались поврозь
и следили за трецинкой вчуже,
а ведь через нее продувало насквозь
и морозило зябкие души.

Миновала пора, когда сладко на вздор
обижаться, чтоб через мгновенье
помириться — и чем неожиданней спор,
тем счастливей потом примиренье.

Так прощай! Если нашей любви суждено
пережить эту смуту и муку,
то теперь у нее уже только одно
и последнее средство — разлука.

Истина

Правдоискателю слышен, равно
как и лжецу, неотступный Твой голос.
Совесьть — Твое в человеке зерно,
честь — из него вырастающий колос.

Подлость порой с потаенного дна
не поднимается тьмы окаянной
лишь потому, что Тебе и цена
точно известна свече покаянной.

Ты — сердцевина и самая суть,
внутренний светоч у каждой свягыни,
так озаряй же надеждой наш путь,
как озаряла его и доньине.

Испепеляющею дотла,
многие были Тобою убиты,
скольким однако Ты в жизни была
и остаешься последней защитой.

Щедрая, всех Ты готова вспоить
и не скупишься на сладкое млеко,
вот почему Ты и вправе вершить
по-матерински судьбой человека.

Ты сокровенна, невидим Твой лик,
но тем не менее мы разглядели,
что на земле каждый прожитый миг —
это стежок Твоего рукоделья.

И приходя к Твоему алтарю,
я перед ним преклоняю колена:
— Будь же во веки веков, — говорю, —
имя высокое благословенно!

Внукам

Берегите
нашу землю!
Да не стать ее дарам
впредь скуднее,
чем издревле,
а меня — ко всем чертям!

Процветайте
год от года!
Да не ведать
больше вам
мора или недорода,
а меня — ко всем чертям!

Добрый замыслам
во веки,
как и праведным
трудам,
да сопутствуют успехи,
а меня — ко всем чертям!

Не забудьте
и о том, что
заповедовалось нам
умножать свое потомство!
А меня — ко всем чертям!

Надо, чтобы
вырос каждый
человек
высок и прям,
горд и честен.
Вот что важно!
А меня — ко всем чертям!

Миру — мир!
Да станет явью
для потомков навсегда
эта главная по праву
и священная мечта.

Молодая мать
с улыбкой
и сияющим лицом
вновь наклонится над зыбкой,
смастеренною отцом.

Жизни
добрую науку
мы вперед передадим
сыновьям своим
и внукам
и праправнукам своим.

А для этого
сберечь бы
нашим книгам
и устам
чистоту родимой речи!
Остальное все — к чертям!

Перевод Бориса ХЛЕБНИКОВА





ДЖУГА, ИЛИ ПО СЛЕДАМ ДОСТОЕВСКОГО

Берзин листал книгу¹ и внимательно читал пометки на полях. Те места, в которых говорилось о земле, были отчеркнуты карандашом. Хромая Лебядкина Мария Тимофеевна, полупомешанная и в то же время мистически воспринимающая мир, рассказывает Шатову:

«...А тем временем и шепни мне, из церкви выходя, одна наша старица, на покаянии у нас жила за пророчество: «Богородица что́ есть, как мнишь?» — «Великая мать, отвечаю, упование рода человеческого». — Так, говорит, Богородица — великая мать сыра-земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная и всякая слеза земная — радость нам есть; а как напоишь слезами своими под собой землю на пол-аршина в глубину, то тотчас же о

В частном письме к Яромиру Едличке, известному чешскому ученому-картвелологу и переводчику грузинской литературы, Григол Робакидзе подчеркивал, что произведения он пишет на грузинском языке и сам же переводит их на немецкий, вот почему он считает, что немецкий вариант равнозначен оригиналу. Мы обращаем внимание читателя на это письмо потому, что, к сожалению, грузинским оригиналом романа «Убренная душа», мы не располагаем. Он был издан в Йене в 1933 году на немецком языке. В романе описываются события, происходящие в Грузии времен коллективизации, главный герой — грузинский писатель. Предлагаемая глава интересна, на наш взгляд, сопоставлением образа Верховенского («Бесы» Ф. Достоевского) и Сталина.

¹ Речь идет о романе Ф. М. Достоевского «Бесы».

всем и возрадуешься. И никакой, никакой, говорит, горести твоей больше не будет, таково, говорит, есть пророчество». Запало мне тогда это слово. Стала я в пор на молитве, творя земной поклон, каждый раз землю целовать, сама целую и плачу. И вот я тебе скажу, Шатушка: ничего-то нет в этих слезах дурного; и хотя бы и горя у тебя никакого не было, все равно слезы твои от одной радости побегут. Сами слезы бегут, это верно. Уйду я, бывало, на берег к озеру: с одной стороны наш монастырь, а с другой — наша острая гора, так и зовут ей горой Острою. Взойду я на эту гору, обращусь я лицом к востоку, припаду к земле, плачу, плачу и не помню сколько времени плачу, и не помню я тогда и не знаю я тогда ничего. Встану потом, обращусь назад, а солнце заходит, да такое большое, да пышное, да славное, — любишь ты на солнце смотреть, Шатушка? Хорошо, да грустно. Повернусь я опять назад к востоку, а тень-то, тень-то от нашей горы далеко по озеру как стрела бежит, узкая, длинная-длинная и на версту дальше, до самага на озере острова, и тот каменный остров совсем как есть пополам его перережет, и как перережет пополам, тут и солнце совсем зайдет и все вдруг погаснет. Тут и я начну совсем тосковать, тут вдруг и память придет, боюсь сумраку, Шатушка. И все больше о своем ребеночке плачу...»¹.

В этом месте мелким почерком было приписано: «Содня сотворения Земли о земле, наверно, не было сказано ничего подобного. Лишь одно это место могло бы оправдать все недостатки романа. Достоевский сознательно останавливает свой выбор на полупомешанной Лебядкиной, чтобы высказать эти мысли. Для того, чтобы произнести эти слова, не ум нужен, здесь необходим другой орган — сердце с невредимыми корнями. И таким сердцем, сердцем ребенка, в котором пульсирует принявший на себя страдание Бог, обладает эта бедная, хромая женщина. Она чувствует землю, великую Матерь, чувствует ее неиссякаемую щедрость. Земное переходит здесь в душевное. В этом и радость, и печаль, хотя она и просветленная. Обладая лишь таким сердцем, можно коснуться Земли, если хочешь ошу-

¹ Ф. М. Достоевский. Полн. собр. соч., Т. 7. Бесы. С.-Петербург. Издание А. Ф. Маркса, 1895.

тить ее плодородие. Нужно быть экстатичным, как ребенок, чтобы приобщиться к божественному. И что же? Уже со времен Фауста началось удушение божественного на земле. Коллективизация земли завершит этот процесс».

Все места в романе, где говорится о связи между Богом и Землей, были подчеркнуты. Шатов говорит Степану Трофимовичу: «...А у кого нет народа, у того нет и Бога! Знайте наверно, что все те, которые перестают понимать свой народ и теряют с ним свои связи, тотчас же, по мере того, теряют и веру отеческую, становятся или атеистами или равнодушными»...

Напротив этой фразы большими буквами было написано: «Это уже произошло, да еще как!»

Или же другое место. Шатов говорит Ставрогину: «Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственное лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного и вера в Него как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца...»

Слова: «Бог есть синтетическая личность всего народа» были подчеркнуты двумя линиями. Следующее примечание было полно иронии и печали: «Теперь же народ не только не ищет своего бога, но убивает его всячески, не понимая, что таким образом он лишь перерезает себе горло». Три раза были подчеркнуты слова Шатова: «Народ — это тело Божие». И тут же на полях дано примечание: «Здесь Достоевский идет впереди европейских мыслителей».

Красным карандашом были отчеркнуты следующие слова капитана Лебядкина: «Россия есть игра природы, но не ума». «Автор примечаний реагирует на эту мысль следующим образом: «Я бы сказал — страна, близкая дыханию хаоса».

Степан Трофимович говорит своему сыну¹: «Я уже потому убежден в успехе этой таинственной пропаганды, что Россия есть теперь по преимуществу то место в целом мире, где все, что угодно, может произойти без ма-

¹ Здесь у Г. Робакидзе неточность. В этой и в следующей цитате Кармазинов обращается к Верховенскому (Прим. переводчика).

лейшаго отпору...» И на полях примечание: «Это предсказание уже сбылось».

И далее Степан Трофимович продолжает: «...Взникшая до сих пор смелость засматривать прямо в лицо истине. Эта способность смотреть истине прямо в лицо принадлежит одному только русскому поколению. Нет, в Европе еще не так смелы: там царство каменное, там еще есть на чем опереться. Сколько я вижу, и сколько судить могу, вся суть русской революционной идеи заключается в отрицании чести. Мне нравится, что это так смело и безбоязненно выражено. Нет, в Европе еще этого не поймут, а у нас именно на это-то и набросятся. Русскому человеку честь одно только лишнее бремя. Да и всегда было бременем, во всю его историю. Открытым «правом на бесчестье» его скорей всего увлечь можно...» Владелец книги сделал здесь следующую пометку: «В самом деле?»

Голубым квадратом были обведены слова Ставрогина: «...подговорите четырех членов кружка укокошить пятаго, под видом того, что тот донесет, и тотчас же вы их всех, пролитою кровью, как одним узлом свяжете...» На сей раз примечание было небольшим: «Вся система ГПУ являет собой ритуальное подтверждение этого метода, не так ли?»

Верховенский рассказывает Ставрогину о плане Шигалева: «У него хорошо в тетради, — у него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а, главное, равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей! Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы; их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается камнями, вот Шигалевщина! Рабы должны быть равны: без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство...» На полях можно было прочесть: «Шигалевщина уже не является

планом, в принципе она осуществлена на практике. Шпионаж — это теперь атмосферная реальность, и не исключено, что уже и небесные тела начали шпионить друг за другом... Равенство вне деспотизма немислимо — сегодня слово «деспотизм» следует заменить словом «диктатура»... В одном лишь ошибается Достоевский: Цицерону не вырезывается язык, Копернику не выкалываются глаза, а Шекспир не побивается камнями, но зато Цицерон должен говорить по Марксу, Копернику вменено в обязанность видеть мир материалистически, а Шекспиру — творить по-пролетарски...».

Среди действующих лиц романа Верховенский был выделен часто и особо. Каждая характеризующая его деталь была подчеркнута. На полях пестрели отдельные слова: то иронизирующие, то одобрительные, то выражающие восклицание. Так, например, двумя красными линиями были подчеркнуты слова о Верховенском, сказанные Ставрогиным Шатову: «Этот Верховенский такой человек, что может быть, нас теперь подслушивает, своим или чужим ухом, в ваших же сенях, пожалуй...»

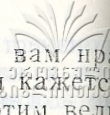
Верховенский обращается к Липутину: «...Вы ехидно улыбаетесь, господин Липутин? А я знаю, например, что вы четвертаго дня исщипали вашу супругу, в полночь, в вашей спальне, ложась спать...» На полях было приписано: «Браво! Браво, Верховенский!»

Федька-каторжник, совершивший побег из каторги, рассказывает Ставрогину: «...У того коли сказано про человека: подлец, так уж кроме подлеца он про него ничего и не ведает. Али сказано — дурак, так уж кроме дурака у него тому человеку и званья нет...» Приписка: «Вот, что происходит с поэтами». В другом месте Достоевский сам приводит слова Федьки о Верховенском: «...Петру Степановичу, я вам скажу, сударь, очинно легко жить на свете, потому он человека сам представит себе, да с таким и живет...» Эта цитата выделена следующим примечанием: «Для облегчения действия это даже очень удобно».

Голубым карандашом было обрамлено место, где Шигалев на собрании берет слово для доклада и с видом пророка говорит: «...Господа, обращаясь к вашему вниманию, — и, как увидите ниже, испрашивая вашей помощи в пункте первостепенной важности, я должен

произнести предисловие». Вдруг Верховенский обращается к какой-то студентке: «Арина Прохорова, нет у вас ножниц?» «Зачем вам ножниц?» — выпучила на него глаза. «Забыл ногти обстричь, три дня собираюсь», — промолвил он, безмятежно рассматривая свои длинные и нечистые ногти...» Примечание: «Ха, ха, ха! Он химически разлагает пафос...»

Особо выделены карандашом три места в романе, где описывается встреча Верховенского со своим отцом Степаном Трофимовичем. Верховенский обращается с ним, как с цирковой собачкой: он щипает, царапает, злит, дразнит, науськивает его и всячески насмехается над ним. Можно подумать, что все это он делает не со злым умыслом, а что это всего лишь безобидная шутка. Когда речь заходит о матери Ставрогина, Верховенский беззастенчиво заявляет отцу: «...Ты с нею двадцать лет кокетничал и приучил ее к самым смешным приемам. Но не беспокойся, теперь уж совсем не то; она сама поминутно говорит, что теперь только начала «прозрачать». Я ей прямо растолковал, что вся эта ваша дружба — есть одно только взаимное излияние помой...» Отец негодует, приходит в ярость, но сын бросает ему в лицо кое-что еще похлеще: «...ты был приживальщиком, т. е. лакеем добровольным» и далее: «...Ну, брат, как я хохотал над твоими письмами к ней». И еще: «...А знаешь, старик, я думаю, у вас было одно мгновение, когда она готова была бы за тебя выйти. Глупейшим ты образом упустил!» И он даже называет его «шутком для потехи». В таком духе продолжается разговор между отцом и сыном. В конце концов отец, потеряв всякое терпение, кричит сыну: «...Но скажи же мне, наконец, изверг, сын ли ты мой или нет?» Верховенский тут же находит циничный ответ: «Об этом тебе лучше знать. Конечно, всякий отец склонен в этом случае к ослеплению... «Молчи, молчи!»—весь затрясся Степан Трофимович». Но наглость сына идет еще дальше: «...а ведь я документ-то тогда отыскал. Из любопытства весь вечер в чемодане прошарил. Правда, ничего нет точного, можешь утешиться. Это только записка моей матери к тому полячку. Но судя по ее характеру...» Все эти места были подчеркнуты и прокомментированы: «Наглость по отношению к матери и отцу», «Брачный союз их поруган», «Семя и лоно осквернены», «Даже



само рождение подвергнуто осмеянию», «Как вам нравится это обращение: «Брат, старик»? Так и кажется, что этот наглец полагает, будто доставляет этим великую радость отцу. Ни стыда, ни уважения. Ничего, кроме наглости и распущенности».

Исключительное внимание было уделено роковой встрече Верховенского с Кирилловым. Кириллова мучает Бог, вернее — идея Бога. Он не в состоянии думать о чем-нибудь другом. Он все время сидит в своей комнате и пьет чай. Самовар постоянно кипит у него на столе. Возможно, чай стимулирует его медитацию. Никто не знает, ест ли он вообще что-нибудь, или лишь пьет чай, до умопомрачения погружаясь в раздумья о Боге. В этой его мании нет-нет да и вспыхнет искорка гения. Слова он произносит запинаясь, мысли выражает бессвязно. Он борется с Богом:

«...Если Бог есть, то вся воля Его, и из воли Его я не могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие...» Кириллов хочет уничтожить Бога, чтобы самому стать Богом. Эта воля к уничтожению представляется ему отрицанием Бога.

«...Сознать, что нет Бога и не сознать в тот же раз, что сам Богом стал — есть нелепость, иначе непременно убьешь себя сам. Если же сознаешь — ты царь и уже не убьешь себя сам, а будешь жить в самой главной славе. Но один, тот, кто первый, должен убить себя сам непременно, иначе кто же начнет и докажет?» Этот пример Кириллов должен подать сам... Верховенский слушает так, будто очень заинтересован, но на самом деле он уже думает совершенно иначе: Шатов вызывает подозрение; не исключено, что он выдаст заговорщиков. Поэтому его надо убрать. Было бы хорошо, если бы Кириллов перед самоубийством оставил записку, в которой взял бы убийство Шатова на себя — ведь для самоубийцы это не имеет никакого значения. С демонической последовательностью он, словно яд, каплю по капле вливает в разгоряченный мозг Кириллова эту холодную, точно рассчитанную им мысль. Какая жуткая встреча между юродивым и дьявольски изворотливым существом! Кириллов через воздух ощущает всю пресмыкающуюся сущность Верховенского. От отвращения у него даже мурашки пошли по телу. Но в конце концов, желая избавиться от него в этом при-

ключении мгновения вечности, он поддается и пишет записку под диктовку Верховенского. Затем начинается жуткая, метафизическая сцена. Кириллов вскакивает, хватая револьвер и исчезает в соседней комнате. Верховенский ждет выстрела и боится, что маньяк как-нибудь по-своему осуществит свою бредовую идею и чего доброго отложит самоубийство. Он читает записку, ждет — но выстрела нет и нет. Он теряет терпение и смотрит на часы: пожалуй, уже слишком поздно. Затем он берет зажженную свечу, подходит к комнате, в которой исчез Кириллов, боясь, что свеча вот-вот догорит. Он осторожно берется за ручку двери и прислушивается. Но за дверью все тихо. Вдруг он резко распахивает дверь и освещает комнату. Раздается крик. Кто-то бросается на него. Верховенский закрывает дверь и прижимает ее плечом. Снова наступает тишина. Поставив свечу на стол, он достает из кармана пистолет и размышляет: или я появился как раз в тот момент, когда он собирался нажать на курок или же... или же он стоял и соображал, как ему убить меня. Так проходит несколько секунд. Затем он снова поворачивается лицом к комнате, держа в правой руке револьвер и в левой — свечу. Он осторожно трогает ручку двери левой рукой. Она неожиданно издает щелчок. Вот сейчас он выстрелит, думает Верховенский. Он открывает дверь ногой и светит в комнату. Непостижимо: ни выстрела, ни крика. Он оглядывается, но вокруг никого. Верховенского охватывает ужас: неужели он выпрыгнул в окно? Он подходит к открытому окну. Как мог он пролезть? Вдруг он оборачивается и, потрясенный, видит, что напротив окна стоит шкаф, и между стеной и шкафом в углу застыл Кириллов, прислонившись головой к стене, немой, страшный. Верховенский испуган, его сердце бешено колотится. Он бросается на онемевшего. И тут происходит нечто еще более страшное; человек продолжает стоять не шелохнувшись. Верховенский освещает лицо окаменевшего Кириллова и замечает, что тот, уставившись на что-то, в то же время искоса глядит на него. Тогда Верховенский решает поднести свечу к лицу Кириллова, чтобы испытать его до конца. Вдруг ему показалось, что подбородок Кириллова задвигался и улыбка скривила его губы — неужели он что-то угадал? Верховенский конвульсивно хватается Кириллова за

плечо. Кириллов кивает головой. Верховенский роняет свечу. Она падает, наступает тьма. Вдруг Верховенский чувствует укус в палец левой руки; рукояткой револьвера он ударяет Кириллова по голове, освобождает свою руку и бросается из комнаты. За собой он слышит крик: Сейчас! Сейчас! Сейчас! Сейчас!.. Верховенский бежит без оглядки и вдруг слышит за собой выстрел. Он останавливается и ищет спички. Найдя их, зажигает свечу и подходит к комнате со стороны окна. На полу лежит мертвый Кириллов. Верховенский внимательно осматривает комнату и еще раз пробегает глазами лежащую на столе записку. Ухмыльнувшись, он осторожно крадется из комнаты.

Вся эта сцена испещрена пометками: «Дьявол!», «Изверг!», «Чудовище!».

В примечаниях, касавшихся Верховенского, неоднократно упоминалось имя «Джуга».

Еще одно место было выделено и помечено. Даша говорит Ставрогину: «Да сохранит вас Бог от вашего демона и... позовите, позовите меня скорей!» Ставрогин отвечает ей: «О, какой это демон! Это просто маленький, гаденький, золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся...» Этот диалог был снабжен следующим примечанием: «Этот «золотушный бесенок с насморком», должно быть — Верховенский». Здесь было особенно много пометок: «Нет, с Джугой этот бесенок не может сравниться.... Нет, Джуга даст ему 95 очков вперед... Джуга из другой породы. Он из неудавшихся? Нет, ни одно исчадие ада не удавалось так, как это...»

Всю ночь Берзин листал эту книгу. Он не любил Достоевского, так как не понимал его богоискания, а эта вечная сумятица в русской душе выводила его из себя. Однако ему редко приходилось перелистывать книгу с таким интересом. Он нашел здесь отрицание самой идеи революции, что еще больше усиливалось сделанными кем-то на полях примечаниями. Прирожденного революционера, каковым был Берзин, это не могло не возмутить до глубины души. Но в качестве бывшего работника ГПУ он ощутил радость ищейки, напавшей на след. Он предполагал, что выследил контрреволюционера. Трофей лежал перед ним. Он только не мог понять одного: «Что означало слово «Джуга»? Кто мог скрываться под этим именем? Было четыре часа пополудни»

чи, когда он закончил просматривать книгу. Он лег в постель, но сон не шел к нему. «Здесь кроется какая-то загадка, — подумал он, — Джуга означает, по-видимому, или кличку или псевдоним». Вдруг в его разогряченном мозгу блеснула мысль. Он вспомнил, что грузинская фамилия Сталина — Джугашвили. Какой-то грузин сказал ему, что «швили» в конце грузинских фамилий обозначает принадлежность к роду, семье. Берзин был крайне удивлен. «Значит, Джуга — это Сталин?». Но к этому удивлению был примешан и страх. Это совпадение надо было тщательно проверить. Ошибаться он не имел права. Затем он еще раз прочел все те места, которые были помечены словом «Джуга». Он читал эти примечания с садистским наслаждением.

«Да, все верно! Все верно!» — говорил он себе, скрежеща зубами. Автор примечаний ненавидел «Джугу» как нереволюционер, а Берзин не выносил Сталина как революционер. Анонимный автор и Берзин по всей вероятности где-то встречались, хотя Берзин не замечал его.

На следующий день он отослал книгу в ГПУ, сопроводил ее надписью: «Примечания к книге — чистейшая контрреволюция!» О Джуге он счел благоразумным умолчать...

Перевод с немецкого Сергея ОКРОПИРИДЗЕ.



Циала КАРБЕЛАШВИЛИ

«...Говорю и пишу, что подсказывает мне сердце»

Иродион Евдошвили (1873—1916)—видный грузинский писатель, основоположник школы грузинской революционно-демократической поэзии. Обвиненный самодержавием в антиправительственной деятельности, он был арестован в 1909 году и заключен в Метехскую крепость, где пробыл год, пока длилось следствие, после чего его сослали в один из отдаленных уездов Вологодской губернии. В июле 1911 года И. Евдошвили переводят в Астраханскую губернию — в город Черный Яр, где он находился до июля 1912 года. Тяжело заболевшему в ссылке поэту было разрешено оставшийся год наказания провести в Тбилиси.

Будучи в ссылке, И. Евдошвили переписывался с близкими и друзьями; часть его писем хранится в Литературном музее Грузии им. Г. Леонидзе. Письма Иродиона Евдошвили содержат интереснейший материал для его творческой биографии, который до сих пор, если и использовался, то весьма односторонне. Из эпистолярного наследия Иродиона Евдошвили мы отобрали для публикации три письма, адресованные грузинскому поэту и драматургу Сандро Шаншиашвили, который в то время учился в Цюрихе.

Первое письмо (от 23 ноября 1911 года), которое не раз цитировалось исследователями (чаще всего те места, где гово-

рится о тяжелых бытовых условиях поэта в ссылке, что резко смещало акценты письма) полностью никогда не публиковалось, хотя и содержит важнейший материал для осмысления идейных и общественно-политических взглядов поэта, для верной оценки всего его творчества. Второе письмо (от 17 января 1912 года) представляет собой подробный художественно-критический анализ одной из ранних драм Сандро Шаншиашвили «Князь отрады» («Швебис тавади») и в нем отразились эстетические взгляды Иродиона Евдошвили. Третье письмо (от 20 мая 1912 года) — свидетельство того, что поэт, находясь в ссылке, внимательно следил за культурной жизнью Грузии.

Циала Карбелашвили

Брат мой, Сандро!

Получил твое письмо, получил и очень обрадовался. Вообще для грузинского писателя, а особенно для меня в моем нынешнем положении, моральное сочувствие — весенний луч в морозный день. Благодарю тебя, мой друг, за те приятные минуты, которые доставило мне твое письмо. Благодарю и шлю тебе свой горячий, сердечный привет. В этом кратком письме я не смогу сказать всего того, что мне давно хочется сказать, что ввергает мое сердце в ядовитый омут, а ведь это заслуга бывших моих друзей. Ты прав, Сандро, этих безумцев, которых ты, оказывается, исколотил, немало; они поносят меня, клеветают на меня, а я нахожусь здесь, вдали от них, но они и с моей тенью продолжают бороться, исподтишка наносят мне удары. Уже давно шипят эти змеи, с тех пор, как подобные им безумцы всадили пулю в старое многострадальное сердце Ильи. Эта пуля поразила и меня; свою безмерную скорбь я выразил в стихах, статьях, и вот здесь оборвалась нить, связующая нас. Впрочем, не нить, а настоящая цепь, которой я был скован с ними идейно целых десять-двенадцать лет. Но все дело в том, что никому неизвестно, когда началась в моем сердце борьба двух идей: кому служить — грузинскому народу как политически угнетенной нации или пролетариату как экономически угнетенному классу. Оба были дороги мне, да и сейчас дороги, но когда грузинские эсдеки сочли постыдным для себя даже упоминание Грузии, когда нынешние ее стенания они увязали с грядущей отрадой, которую дарует социализм, и спасение после смерти обещали — вот тогда мое сердце, а за ним и мой разум восстали против них. Это случилось в 1903 году, именно тогда я оставил работу в «Квали»; постепенно зрела во мне эта

мысль, безмолвно, в моих размышлениях, трудно было разорвать цепь, ковавшуюся двенадцать лет, и вот Илья своей смертью помог мне. Я окончательно порвал с грузинскими эсдеками и, если когда-нибудь взгляну в их сторону, то лишь затем, чтобы плюнуть им в лицо. Повторяю и обращаю твое внимание на эти два слова — грузинские эсдеки. Ибо более превратного представления о национальном вопросе, как у них, нет у социал-демократов ни одной страны; внимательно приглядишься к австрийским эсдекам, немцам и др. Но если сегодня грузинский рабочий так искаженно понимает национальный вопрос, то в этом, конечно, повинна грузинская социал-демократическая интеллигенция. Я — один из них и хочу исправить свою ошибку. Мне хорошо известно, Сандро, что по этой самой причине многие сознательные рабочие и интеллигенты-эсдеки, подобно мне, разочаровались в движении, но мало кто смеет искренне признаться в этом в частных разговорах, ну а писать на эту тему и подавно боятся — уберігаются от той ненависти и презрения, которыми так преследуют меня их товарищи. Ты ведь знаешь, поэт не способен кривить душой, и я не смог воспротивиться велению сердца. Я не могу больше таиться, говорю и пишу, что подсказывает мне сердце. Мое упрямое сердце кизикинца не дрогнуло под их натиском, и я заявляю сегодня: я одержал победу над этими волками. Их ядовитые стрелы не достигают цели, хотя эта духовная борьба дорого обошлась мне. Мне пришлось пережить немало, и это наложило тень печали на мою душу.

Но довольно об этом, продолжим в следующих письмах. Коротко о моем нынешнем положении: духовное сиротство, материальная нужда. Мечтаю о собеседнике, с которым хоть иногда можно было бы душу отвести. Насколько я обеспечен, можешь судить по тому, что ржаной хлеб и тот редкость и, когда мне удастся раздобыть его, угощаюсь им как кадой. Город — не город, а городишко. Ты пишешь, что не знаешь моей улицы и поэтому адрес неточный. Представь, что это за городок, если человека здесь ищут не по названию улицы и номеру дома, а по тому, у кого он живет — у Петрова или Пахомова; как, скажем, в Цлункаани называют — дом Ткачаани, бывшая лачуга Мухручаани и т. д. Смело можешь посылать мне письма по этому адресу. Летом здесь как будто жилось лучше: почти ежедневно один-одинешенек ходил на Волгу с кастрюлькой и удочкой, ловил рыбу, коротал время и кормился. Началась зима, и страдания мои удвоились. Сосланных политических здесь около двадцати пяти, но у меня с ними лишь официаль-

ные отношения. Среди них было четверо рабочих-грузин, теперь остались двое — двое уже уехали. Должен тебе сказать, что все четверо — весьма симпатичные юноши, и их коснулось крыло любви к Грузии. Как ты понимаешь, я всячески стараюсь разжечь это чувство, так что двоих отправил отсюда крещеными, и надеюсь, что оставшиеся двое уедут отсюда такими же, как их товарищи. Недавно из другого города сюда перевели одного грузинского студента, Сараджева. Он родился и вырос в Тифлисе, но грузинского якобы не знает. Скрывает, лжет, свинья. Как грузину, выросшему в городе, т. е. Тифлисе, не знать грузинского языка? Возможно, он парень неплохой, пока я его плохо знаю, но, к сожалению, уже одна эта причина внушает мне отвращение к этому выродку. Твое стихотворение «На Севере», посвященное мне, я прочитал, его показал мне один рабочий-грузин, заплесневелый марксист, которого я немножко подчистил, но, к сожалению, его вскоре освободили, и я не смог довести дело до конца. Так-то, мой Сандро, надо пользоваться каждой минутой, каждой возможностью, поэтому вот что я тебе скажу: не теряй драгоценного времени, ты молод, учись, возвращайся вооруженный знаниями и начнем вместе работать в редакции. Хоть жизнь меня порядком пообломала, надеюсь протянуть с вами лет десять. В данную минуту и в предстоящие полтора года, пока меня освободят, я чувствую себя мертвецом, оживу только тогда, когда вернусь в Тифлис. Ну, дело за тобой, набирайся знаний, будем вместе тянуть лямку. Жажду борьбы, как эхской воды¹ в июле! Я больше не посылаю стихов в «Сахалхо газети», там меня очень обидели. Несколько моих стихотворений лежат у них шесть-семь месяцев, так и не напечатали. Правда, в некоторой мере они были опасны, но дело в том, что даже причины мне не сообщили, почему не печатают; я, со своей стороны, стихов им больше не посылаю, и те, что лежат, просил не печатать. Пока что так. Беглару², ты ведь сам знаешь, когда пьет, некогда писать письма, а когда не пьет, тоже некогда, потому что занят поисками выпить.

Твой Иродион.

Черный Яр,
23 ноября 1911 года.

¹ Родник в Джугаани, родной деревне Сандро Шаншиашвили.

² Беглар Ахоспирели — грузинский поэт и драматург, сотрудник «Сахалхо газети».

Брат мой, Сандро!



Дважды перечитал «Князя отрады», и вот мое мнение: весь трагизм этой поэмы вкратце выражается в словах: «В мире был, и мир его не познал»¹: Амо и Циаги², Циаги и Амо — две половины одного целого, Циаги — как отраженный свет-идея и Амо — как сосуд этого света, мост между народом и лучом небесным. Им противостоит темнота сердца и разума народа, его животное стремление к сытому желудку и отрицание, кроме «хлеба», всего, что облагораживает душу, Авкиа³ — олицетворение стремлений народа. Вот эти две силы — с одной стороны Амо-Циаги, с другой — Авкиа, борются меж собой, и хотя Авкиа волею автора гибнет, он все же побеждает, как темнота народа, а Амо побежден, как свет.

Все остальные действующие лица служат лишь дополнением к этим образам. Естество, Хулитель, Несгибаемый — это пионеры, передовые силы народа, признавшие Амо и терпящие вместе с ним поражение. Это логически оправдано. Зависть, Беда, Черный Дэв, Смерть, Тоска и др. являются атрибутами жизни народа... Стоит народу возалкать «хлеба», как они сразу восстают из глубин его сердца. Посох — лишь призыв к возмущению. Вот вкратце, как я понял замысел поэмы.

Теперь о том, насколько ты достиг своей цели. Развязка трагедийного узла — также во втором действии: мы видим Амо побежденным, и остальные три действия — лишь панихида по первым двум, а кто у ложа умирающего рвет на себе волосы, тот на панихиде уж прохладен. Поэтому я считаю, что остальные три действия совершенно излишни. Лишние струны лире во вред, звучание теряет свою чистоту. Надо было основательно поработать над первыми двумя действиями, четко вышить узор, как на пальцах: сказать необходимое именно здесь, а не после, и образы Амо-Циаги и Авкиа предстали бы перед читателем более яркими, чем в пяти растянутых действиях. Достаточно было придать большую остроту борьбе противников в первых двух действиях, и гибель Амо получилась бы более трагичной. Но волею автора Амо легко одерживает победу и с такой же легкостью погибает. Его образ как человека умален. Хулителю это имя явно не подходит, т. к. он не хулит, а говорит правду. Несгибаемый, который является народным героем и который

¹ Евангелие от Ионна, 1, 10.

² Действующие лица поэмы («Амо» — Радостный, «Циаги» — Блеск).

³ Авкиа — Злословие.

потерял Гия-луч, указывающий ему дорогу, по сути повторяет его. Если бы ты объединил их в один образ, было бы лучше. Тем более, что Хулитель — всего лишь бледная тень бледного Естества. И Гия не вовремя является к Несгибаемому, т. к. тот потерял дорогу, ибо потерял светозарных Амо и Циаги. Смерть, Горе и другие довольно расплывчаты, лучше их объединить с Авкиа, либо с его Посохом..., и тип Авкиа только выиграл бы, не то получается, что в поэме Авкиа как-то отделен от того, что составляет его суть... Авкиа — вождь народной темноты. Ошибаются те, кто говорит, что Амо на народ «смотрит свысока», что Амо ни во что не ставит народ. Если бы Амо ни во что не ставил народ, он не принял бы за него муки, если бы он не хотел для него огня небесного, он не принес бы огня ему. Амо отказал Дэву — не отрекся от своей веры, а вера ему нужна была для народа, следовательно, Амо равнодушен по отношению к народу, он видит его отсталым, но не пренебрегает им, а зовет к «огню», который коснулся его, и сам принимает муки за него, ибо «в мире был, и мир его не познал». Я ничего не имею против идеи, ты это поймешь, когда прочтешь один мой небольшой рассказ, который я недавно закончил. Вообще поэма оставляет впечатление как бы пожелания автора, будто то, что он хотел сказать, он не мог выразить четко, и виной этому поспешность, небрежность, в чем мы все грешны. Сказать, что поэма мне вовсе не нравится, было бы неправдой, но и нравится не в такой степени, чтобы не сказать — либо дополни, либо уплотни, чтобы получился маленький, но прекрасный букет — роза к розе, без пустот. Словом, таково мое мнение; можно было бы еще кое-что отметить, надеюсь, мы еще вернемся к этой теме.

Не читал, что пишут в «Теми»¹ о поэме, какое-то время не получал газеты, прочел лишь фельетон В. Церетели. Напиши мне, в чем я ошибаюсь насчет поэмы, возможно, это поможет уяснить предмет спора.

Не торопись присылать Байрона. Пришлешь, когда сможешь, не хочу тебя беспокоить. А вот поэму свою «Медю» пришли. Можешь прочесть в «Ганатлеба» мою поэму прежде, чем она выйдет отдельной книжкой. Книгу отпечатают с журнального набора — дешево обойдется. Остальное — в следующих письмах, после твоего ответа. А сказать мне надо многое.

Твой Иродион.

17 января 1912 года.

¹ «Теми» — литературно-политическая газета, издавалась в 1910 — 1915 г.г.

Брат мой, Сандро!



После долгого молчания — здравствуй! Прости, я должен был ответить, но запоздал. Причина: слабость души и сердца, которая от физической смерти тем и отличается, что чувствуешь свой конец; ослаб и телом — два месяца не поднимался с постели.

Почитываю эскизы наших писателей. Обрати внимание, все они цепляются за «переходное время», пытаются этим странным ключом открыть «замок», как будто каждое время не есть переходное. Или нашим критикам ведомо остановившееся время?!

Недавно прочитал выступление какого-то Натадзе, прокисшего марксиста, произнесенное в Ланчхути, речь шла о тебе. Конечно, этим ненормальным такой поэт, как ты, не по душе. Им подавай стихи на тему экономического материализма, как, например, авлабарцам¹ — песенки на манер «Драсти губа» и «Боже мая». Критик позволил себе даже попроphetствовать, что будет с тобой, когда ты женишься. «Тпрууу, вахлак!» — о таком животном говорят кизикинцы.

Прочитал ли ты фельетон Г. Кикодзе о В. Барнове? Не кажется ли тебе, что он заблуждается или, вернее, ошибается, когда говорит, будто Тебер не является истинным деревенским «образом», типом. Я думаю, он не прав; в деревнях немало таких рыцарей любви, и Тебер взят автором из подлинной жизни. Да и хвалит он Барнова чрезмерно, но это ничего, в самом деле «Нареченная Тебера» — лучшее произведение в сборнике.

Пишу по старому адресу и не знаю, найдет ли тебя это письмо. Поэтому на этот раз буду краток. Не мсти мне за молчание, пиши. Чем занимаешься, как живешь, когда собираешься вернуться в Грузию? Мне остался еще год.

Твой Иродион.

20 мая 1912 года.

¹ Авлабар — район старого Тбилиси.



Лина ХИХАДЗЕ

ГУМИЛЕВ И КАВКАЗ

Некоторое время назад были опубликованы юношеские, «тифлиссские» стихи Н. С. Гумилева¹. (Как известно, в 1900 году семья поэта переехала на Кавказ, Гумилеву было тогда 14 лет. Два с лишним года он проучился в тифлисской гимназии. Здесь же осуществилась первая публикация его стихов в газете «Тифлисский листок», 8 сентября 1902 года. Публикуемые в журнале стихи записаны Н. Гумилевым в альбом ученицы тифлисской гимназии Марии Михайловны Маркс).

Стихи эти, слабые, ученические, несут на себе откровенный отпечаток разного рода романтических штампов. Отмечая это, публикаторы, В. Петраковский и М. Эльзон, тем не менее, придают большое значение альбому, позволяющему, в частности, судить о том, «что было между первой газетной публикацией и первым сборником «Путь конквистадоров» (1905 г.)». Интересно заявление публикаторов, что здесь намечается тема «Гумилев и Кавказ». Соглашаясь с этим, я прежде всего очерчу аспект предлагаемого исследования. Дело в том, что стихи эти, действительно не интересные для изучения процесса созревания профессионального мастерства поэта, дают основательный повод для наблюдений над процессом созревания его личности, проступающей, хотя и нечетко, сквозь беспомощные строки. Можно сказать, не колеблясь: в этих детских стихах высокий нравственный климат. Уже звучит мотив противостояния, сопутствующий становлению личности. И тема «Гу-

¹ «Литературная Грузия» 1988 г. № 1. Альбом хранится в рукописном отделе Пушкинского дома (Институт русской литературы АН СССР).

милев и Кавказ» в этом смысле представляет несомненный интерес. Традиционная для русской поэзии тема Кавказа вовлекается им в собственное духовное самоопределение, связывается с процессом внутреннего становления, лирического самовыражения (при всей слабости художественных средств, которыми юный поэт тогда располагал). Стихотворения, входящие в альбом (его можно назвать «кавказским» не только по времени написания стихов, входящих в него, не только потому, что одно из них — «Я в лес бежал из городов» опубликовано в тифлисской газете, но потому, что образ Кавказа, принятый всем «составом души», присутствует почти в каждом из них), интересны именно как свидетельство раннего становления личности. По этим стихам можно догадываться о том, какую роль сыграли кавказские впечатления в уже складывающейся системе восприятий юноши, какие глубинные, душевные мотивировки определяли эти восприятия, из каких источников они питались. Цикл является вполне конкретным свидетельством того, что молодой Гумилев обращался к теме Кавказа в поисках своего внутреннего образа, внутреннего самоощущения. Тема эта связывалась с сокровенной областью формирования личности, в этом, как мне кажется, внутренняя сущность «кавказского цикла». А одновременно такой подход к «кавказской теме» подключает Гумилева к могучей, продуктивной традиции, уже прочно сложившейся в русской романтической поэзии, следовательно, возникает необходимость постановки другой темы — Гумилев и русская романтическая традиция (обозначим ее условно так), которая тем более интересна, что в немногочисленных еще работах о Н. С. Гумилеве, когда заходит речь о первоначальных поэтических воздействиях, испытанных поэтом, называют имена Минского, Апухтина, Фофанова, Бальмонта — и только. Кавказский альбом с полной определенностью заявляет, что ранняя предпосылка гумилевского творчества — русская романтическая традиция, конкретнее — лермонтовская традиция. Можно заметить, что Кавказ — живейшее (как и у Лермонтова) впечатление отроческих лет — сливался с образом Кавказа, уже существующим как некая безусловная данность в русской романтической поэзии, принимался со всеми чертами традиционной кавказской символики, сложившейся в эстетике романтизма, с устоявшимся метафорическим смыслом, от которого шли мощные импульсы свободолюбия.

Рассматриваемые стихи, надо признать, все «ниже эстетической критики», говоря словами Добролюбова. Тем не менее, они неодинаковы по интонации, по питающему их пафосу. Часть

из них группируется вокруг лирического персонажа, отягченного приметам традиционного рефлекслирующего скитальца или изгнанника. Кто он и откуда — неясно. Ясно только, что он чужой в этом мире и чужой самому себе.

Я в лес бежал из городов,
В пустыню от людей бежал,
Теперь молиться я готов,
Рыдать, как прежде не рыдал.
Вот я один с самим собой...
Пора, пора мне отдохнуть...

Подражательные меланхолические мотивы: усталость от жизни, стремление утомленной разочарованной души к уединению. (Автору шестнадцать лет, и он публикует это стихотворение в газете «Тифлисский листок»). Но в «пустыне лесов», наедине с величавой природой и «с самим собой» сильнее звучит внутренний голос (как и у Лермонтова, «пустыня мира» — не географическое обозначение, а высшее выражение одиночества). И тут смутно возникает тот мотив, которому суждено мощно прозвучать позднее в творчестве Гумилева — верность предназначению. Она — главный критерий достоинства человека, измена ему — вина, которой нет оправдания.

Мне бог бороться силы дал,
Любил я правду и людей,
Но растоптал свой идеал,
Я мог бороться, но, как раб,
Позорно струсив, отступил
И, говоря, увы, я слаб,
Свои стремленья задавил.
Есть люди с пламенной душой,
Есть люди с жаждою добра,
Ты им вручи свой стяг святой,
Их манит, их влечет борьба.
Меня ж, Господь, прости, прости,
Прошу я милости одной:
Больную душу отпусти
На незаслуженный покой¹.

К богу обращена мольба не о счастье, всего лишь о покое, но и покой признается незаслуженным.

¹ Слова А. Ахматовой «И принял смертную истому как незаслуженный покой» — не реминисценция ли? На это обратил мое внимание В. Э. Вацууро.

«Он не заслужил света, он заслужил покой», — говорит о Мастере, прося за него Воланда, Левий Матфей. Герой Гумилева изменил лучшему в себе, изначально данному богом или природой («Мне бог бороться силы дал, Любил я правду и людей»), поэтому покой им не заслужен. Здесь ничто не предвещает твердых мужественных интонаций будущего Гумилева. Нельзя сказать даже, что это — пробующий себя голос, это — просто другой голос, если говорить о Гумилеве-поэте, о его поэтическом мастерстве. От этих расслабленных интонаций, от этой сентиментально-книжной риторики ему предстояло избавляться на пути обретения собственного поэтического звучания. И все-таки (при всей расплывчатости формулировок) как четко расставлены нравственные акценты: «есть люди с пламенной душой, есть люди с жаждою добра», их «манит и влечет борьба», и есть отступник, для которого и покой — незаслуженная милость. И хотя в данном случае неуместно обсуждать собственно художественную сторону стиха, заметим, что это дважды повторенное «прости» не случайно здесь. В ретроспекции гумилевского творчества со столь сильным мотивом судьбы-предназначения это стихотворение просится быть понятым как смутная еще попытка осмыслить жизнь как долг, как предельное напряжение душевных сил, их «неутихание». Сложившееся позже мировосприятие своими корнями уходит в раннюю молодость: предназначение, равное судьбе, верность ему или измена — это ведь, в сущности, о том, что Гумилеву с предельно отточенной афористичностью предстоит выразить в одном из совершеннейших созданий его лирики:

Лишь небу ведомы пределы наших сил,
Потомством взвесится, кто сколько утаил.

(«Молитва мастеров»)

Одну, очень существенную, грань отношения к жизни Гумилева я бы выразила запомнившимися мне словами С. С. Аверинцева о другом поэте: «Это... отношение к жизни как к рыцарскому приключению, исход которого совершенно неизвестен и которое должно быть, именно поэтому, принято с великодушной веселостью. «Весело идти в темноту» — говорится у него... Благородство и радость... в том, чтобы весело идти в темноту, чтобы совершенно серьезно, как «хорошее дитя в игре», вкладывать свои силы и, одновременно, относиться к ее исходу легко»¹.

¹ Аверинцев С. Попытки объясниться. М., 1988, с. 7.

Веселым, радостным и мужественным усилием заволакивают стихи Гумилева, широко известные даже в годы печального забвения его поэтического наследия:

**Я конквистадор в панцире железном,
Я весело преследую звезду,
Я прохожу по пропастям и безднам
И отдыхаю в радостном саду.**

(«Путь конквистадоров»)

А ведь этот «веселый» мотив (на фоне кавказской природы) уже прозвучал в анализируемом альбоме в стихотворении о «веселой жизни» «свободного стрелка».

**С самострелом и стрелами
Через горы и леса
Держит путь стрелок свободный,
Смело глядя в небеса.
Там, где с высей низвергаясь
Мутный плещется поток,
Где так жарко греет солнце,
Там царит один стрелок.
И своей стрелой меткой
Он разит издалека,
Лучше денег, лучше слова
Жизнь веселая стрелка.**

(«Альпийский стрелок»)

Следует ли из этого, что вся эта веселая игра была для молодого поэта «маской, ролью, гримом», что он «брал из этого реквизита просто на прокат, но потом кое-что так и пристало к нему, в том числе и актерство, любовь к позе, к приключению»? Маска — не всегда маскировка, известно выражение: «Каждый выбирает маску, соответствующую своему лицу». Другое дело, что унисон между индивидуальностью и воплощаемым образом давался не сразу, потому, между прочим, что и индивидуальность не сразу давалась. А все эти игровые моменты, приемы маски и пр., как игра воображения «хорошего ребенка», с самого начала включала в себя серьезнейшую поэтапную работу — строительство своей личности, своей индивидуальности. Мужественное сотворение себя, стремление стать

¹ См. интересную статью А. Павловского «Николай Гумилев». Вопросы литературы, 1986 г., № 10, с. 97—98.

— через усилие, через страдание — тождественным своей судьбе станет, как было сказано, главной темой зрелого Гумилева (он погиб в 35 лет!), и если «актерское начало», как свидетельствуют мемуаристы, было свойственно природе Гумилева, то более всего оно проявилось в том, как он сыграл самого себя — сыграл щедро, безоглядно, «весело» (говоря его любимым словом) и трагично, «до полной гибели всерьез». Сыграл так же органично, как жил... А пока — первые шаги на этом пути, и так по-лермонтовски своевременно обретенный волшебный край «гор и ущелий».

Во всех стихотворениях кавказского цикла в духе романтической традиции, к которой он этим циклом подключался, особое значение отводится природе, и во вполне определенном ракурсе. Сопричастность Вселенной, особая космичность, планетарность мышления, космический взгляд на жизнь, который будет входить в качестве весомой составной части в своеобразие миропонимания поэта, пусть в элементарных еще формах, но уже присутствуют и в этих незрелых стихах. Чуждая юноше первозданная природа интересна ему отнюдь не экзотичностью, а величавостью, тем, что понуждает человека найти в себе силы соответствовать ей, чтобы установить трудную гармонию с миром, с Вселенной.

Вам, кавказские ущелья,
Вам, причудливые мхи,
Посвящаю песнопенья,
Мои лучшие стихи.
Как и вы, душа упряма,
Как и вы, душа мрачна,
Как и вы, не терпит шума,
Ее манит тишина.

Сквозь заслон несовершенного словесного выражения дает себя почувствовать ненадуманное стремление к «высоте и тишине», по которым поэт «томился много», тоска по недостижимой свободе духовного бытия.

Соприкосновение с величавой природой создает очень ему впоследствии близкую ситуацию крайностей, мужественного напряжения всех сил «бездны на краю» — без этого нет вообще Гумилева.

Люблю я чудный горный вид,
Остроконечные вершины,
Где каждый лишний шаг грозит
Несвоевременной кончиной.

II

Люблю над пропастью глухой
Простором дали любоваться
Или неверною тропой
Все выше, выше подниматься.



III

В горах мне люб и божий свет,
Но люб и смерти миг единый.

(«Посвящение к сборнику «Горы и ущелья»)

Юноша стремится «Все выше, выше подниматься». Позже, в одном из его шедевров, в стихотворении «Орел» будет сказано: «Он летел, все выше и вперед». Случайное слово? Нет, здесь ощутимо веет предчувствием настроения, которым проникнется будущее стихотворение, замороженность высотой и синевой, к которым «орел» летел все выше и вперед», «и умер, задохнувшись от блаженства» («В горах мне люб и божий свет, Но люб и смерти миг единый»).

И в связи с этим возникает возможность говорить о властительном присутствии в этом альбоме поэта, навечно связавшего себя в русском культурном сознании с этими «горами и ущельями». Мы не можем утверждать, что юный автор сознательно ориентировался на Лермонтова, но о его влиянии можно говорить как о решительно преобладающем среди всех прочих влияний. Более того, есть приметы, свидетельствующие о том, что самая ранняя предпосылка гумилевского мирочувствия — лермонтовская традиция. Поэт рос и внутренне мужал, соизмеряя себя с «лермонтовским человеком», определяющие черты характера которого впоследствии усматривал (как и его учитель И. Анненский) в особом благородстве мирочувствия, внутренней независимости, способности противостоять жизни, «не идти к ней в кабалу» (И. Анненский), наконец, в равнодушии к самой смерти. Известно, что Гумилев не раз подчеркивал личный для него смысл лермонтовского творчества. «Я с самого детства и сейчас еще больше всех поэтов люблю Лермонтова», — говорил он по свидетельству Ирины Одоевцевой. Находя между собой и Лермонтовым психологическую близость, Гумилев указывал и на раннее знакомство с Кавказом, сыгравшее в становлении обоих значительную роль.

Лермонтовская аура, это полутаинственное свечение, явно очень чутко улавливаемое юношей Гумилевым, высокая лермонтовская нота возникает внезапно, среди банальных стена-

ний, среди сугубой риторичности. Неуловимый поворот и странное ощущение лермонтовского «присутствия»

...я рыдаю, и в горах
Эхо громко раздается,
Пропадая в небесах.

Меланхолический герой вдруг обретает другие измерения характеристику другого, самого высокого лица русской романтической поэзии. Это, мучимый своей вселенской тоской, рыдает Демон, и эхо стократ повторяет беспощадный звук, тревожа равнодушные небеса.

Злобный гений, царь сомнений,
Ты опять ко мне пришел,
И желаньем утомленный, потревоженный
и сонный,
Я покой в тебе обрел.
Вечно жить среди мучений,
Среди тягостных сомнений,
Это сильных идеал,
Ничего не созидая, ненавидя, презирая
И блистая как кристалл.

Богоборчество в романтической литературе причастно высокому, так оно и воспринимается Гумилевым-юношей.

Позднее, в пору его печальной и мужественной зрелости, с Лермонтовым Гумилева будут роднить его редкостная мужественность, трепетно сочетающаяся с безоружной нежностью в особом смысле детской природы, страстность, соединяющаяся с неподдельным целомудрием, жизнелюбие и трагедийность мироощущения, слитые воедино.

«Лермонтовские» разговорные задумчивые интонации будут звучать в медитациях Гумилева, как бы приоткрывая завесу над тайной пройденной школы.

С этой тихой и грустной думой
Как-нибудь я жизнь дотяну,
А о будущей ты подумай,
Я и так погубил одну.

(«Я не прожил, я протомился»)

Эта «молитва», «по-лермонтовски» характерно переходящая в гордый разговор на равных с кем-то Всевидящим и Всевластным, эта усталая ирония несломленного, однако, бойца.

тон философского раздумья (поддержанный «падающим» ритмом) — все это близко сдержанно-страстной, сосредоточенной интонации лермонтовских стихотворных раздумий, в которых «стих был только средством для выражения его идей, глубоких и вместе простых своєю беспощадною истиной, и он не слишком дорожил им» (Белинский). Тема «Гумилев и Лермонтов», думается, — область особого исследования. Речь при этом будет идти, конечно, не о простом влиянии, ни о чем другом, как о «бремени наследства», которое очень сложно и опосредованно переплавляется в истинном творчестве. А пока, в альбоме, все это на уровне «влияний», ученически откровенно и интересно только как высокое усилие неокрепшей души. О том, что Лермонтов и Кавказ оказались могучим духовным внушением для Гумилева, более всего свидетельствует в альбоме образ Молодого Францисканца, прихотливое соединение двух могучих «кавказских» созданий великого поэта, видимо, одинаково сильно пленявших воображение юноши Гумилева. Ассоциативное мышление внимательного читателя мгновенно уловит в этом образе отголоски и мцырского, и демонического начал. Демоническое мироощущение характеризует Молодого Францисканца с первых же строк. Его душевные терзания названы здесь «бесовским волнением». Кое в чем слышатся отголоски характеристики «царя познания»: упоминается об уме, «объятом сомненьем», намекается на то, что ему «открыты тайны всего мирозданья», что он знает «о страшных влияньях могучих планет». В рассказе о его «без горя и радости» пребывании в этой жизни присутствует космическая знаковость, подсказывающая сопоставление с «бессменной тоской» вечного скитальчества Демона во Вселенной:

**Но все опостылело в жизни ему
Без горя и радостей света.
Так в небе, внезапно прорезавши тьму,
Мелькает золотая комета,
И после себя, не оставив следа,
В пространстве небес исчезает...**

(«Молодой Францисканец»)

Но гумилевский герой — не небожитель, и обиталище его — не просторы мирозданья, а монашеская келья: «полная сил молодая душа бесплодно в стенах изнывает». Подключается другой мотив, мотив мцыревского безотчетно доверчивого и безудержного порыва к свободе.

Бегу из монашеских душевных я стен,
Как вор проберусь на волю,
И больше, о нет, не сменяю на плен
Свободную новую долю.



Перефразируя известные парадоксальные по смыслу строчки Ахматовой «Демон сам с улыбкою Тамары», можно было бы сказать о Молодом Францисканце: «Демон с улыбкой Мцыри». Мотив свободы нарастает. «Юный преступник» пойман и держит свою пламенную речь перед инквизиторами, кардиналом, стражей. Перед этими судьями «сердцем свободный, отвагой горя, стоит он бесстрашный, великий». Юный автор доводит до последних пределов решимость поборника свободы — он готов за нее идти на костер:

И смерть моя новых борцов

привлечет,

Сообщников дерзких, могучих.

Вопреки мнению, что «столь традиционные для русской поэзии свободололюбивые мотивы были ему совершенно чужды», что «огонь мятежа, свободы, бунта никогда не горел в поэзии акмеистов, не зажегся он ни разу в лирике Гумилева»¹, юный Гумилев, поэтически связанный с русской традицией восприятия Кавказа, подключался и к мятежному пафосу, питающему творчество Лермонтова. Свобода утверждается им как исходный принцип, как прирожденное для человека стремление.

Молодой Францисканец не одинок в своей борьбе:

Я слышал: в далеких германских лесах,

Где все еще глухо и дико,

Поднялся один благородный монах,

Правдивою злобой великий,

Любовию к жизни в нем сердце горит,

Он юности ведает цену...

И кончается этот монолог страстным призывом:

Да здравствует свет, разгоняющий тьму,

Да здравствует наша свобода!

Все это, конечно, отмечено ценностной неопределенностью (не говоря уже о художественном уровне), но явно обнаруживает черты сходного с лермонтовским героем духовного склада личности. Причем юный Гумилев как будто хочет разре-

¹ «Вопросы литературы», 1988, № 10, с. 120.

шить противоречие, мучившее Лермонтова: он конструирует образ, каким-то причудливым образом совмещающий два типа мироощущения, черты двух человеческих характеров (Демон Мцыри)¹, сосуществующих в нравственно-художественном мире Лермонтова, но трагически разъединенных. Лермонтову рядом с его надменным небожителем нужен был горячий, доверчивый, рвущийся к миру и людям Мцыри. Остро ощущаемая потребность их друг в друге и, одновременно, их безнадежная антагонистичность сообщает романтической трагедийности лермонтовского мира особое качество. Юный Гумилев, не желая отказаться ни от одного из этих глобальных образов, лишает их поляризации: в образе Молодого Францисканца совершается очевидное монтирование черт обоих лермонтовских героев — с жестом отстраняющим и горделивым (демонским) соседствует доверчивый и любящий жест навстречу (мцыревский): «Любовно к жизни в нем сердце горит» характеризует его автор, «Любови не вернете народа» — грозит герой своим врагам.

Встреча в едином потоке восприятия демонского и мцыревского (условно говоря) начал заметна в поэзии Гумилева и позже. В стихотворении «Портрет мужчины» «штрихи к портрету» включают в себя «муку демонизма», но при этом исключают демоническую злобу:

Его глаза — подземные озера,
Покинутые царские чертоги,
Отмечен знаком высшего позора,
Он никогда не говорит о боге...

В его душе столетние обиды,
В его душе печали без названья,
На все сады Мадонны и Киприды
Не променяет он воспоминания...

и далее: Он злобен, но не злобой святотатца,
И нежен цвет его атласной кожи,
Он может улыбаться и смеяться,
Но плакать... плакать больше он не может.

И Дон Жуан, некогда счастливый своей азартной вседозволенностью — «/Моя мечта надменна и проста,/ Схватить весло, поставить ногу в стремя,/ И обмануть медлительное вре-

¹ Сам Лермонтов пытался осуществить этот синтез в юношеской поэме «Боярин Орша».

мя./ Всегда лобзая новые уста,» — поймет преимущества перед этими обманами простых и вечных правил жизни:

И лишь когда средь оргии победной
Я вдруг опомнюсь, как лунатик бледный,
Испуганный в тиши своих путей,
Я вспоминаю, что, ненужный атом,
Я не имел от женщины детей
И никогда не звал мужчину братом.

(«Дон Жуан»)

Опознаваемая ссылка на главные лермонтовские образы в альбоме, по-видимому, очень существенна: они живут в его сознании как всеохватывающие символы, связываясь с уже начинающим формироваться пониманием смысла жизни, который будет состоять не только в упрямом противостоянии серой будничности, азарте вызова, порыве к необычности, но свяжет себя и с тайной причастности к роду человеческому и ответственности перед ним.

Это — сокровенный Гумилев, в поэзии которого активное неприятие жизни как повседневности («Я вежлив с жизнью современной») сопряжено с острым ощущением ее прекрасной изначальности («Я ребенком любил большие, медом пахнущие луга»). Впоследствии он скажет об этом с удивляющей силой поэтической сосредоточенности:

**Есть бог, есть мир, они живут вовек,
А жизнь людей мгновенна и убога,
Но все в себя вмещает человек,
Который любит жизнь и верит в бога.**

Уроки Лермонтова с его уникальнейшей уверенностью в высоком предназначении человека, и отроческая встреча с Кавказом, и тема Кавказа, ввиду своей укорененности в родной культуре приобщавшая начинающего поэта к высокой традиции с ее определившимися особенностями и акцентами, — все это участвует в заложении основ отношения юного Гумилева к жизни и поэзии.



ВДОХНОВЛЕННЫЙ ВЕЛИКОЙ ПОЭМОЙ

В истории перевода поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре» имя Ивана Ивановича Евлахова (Евлахишвили) — поэта, прозаика, драматурга занимает определенное место. Знаменательно, что он, одним из первых наряду с И. Бартдинским предпринявший попытку перевода поэмы на русский язык, был истинным патриотом Грузии и одновременно подлинным интернационалистом, не замкнувшимся в пределах своей национальной культуры, стремившимся приобщить читателей к богатству культурного наследия закавказских народов, русской и западноевропейской культуре. Он свободно владел грузинским, русским, азербайджанским, армянским, французским и персидским языками.

Перевод И. Евлахишвили руставелевской поэмы подробно исследован учеными, намного меньше известна его биография. Интересным документом, содержащим сведения о жизни писателя, явились воспоминания сына — известного сперного певца С. И. Евлахишвили, в рукописном виде хранящиеся в семейном архиве у внука — кинорежиссера С. С. Евлахишвили и частично опубликованные Л. Н. Андгуладзе¹, впервые собравшей сведения о жизни и творчестве переводчика Руставели. На основе данных архивов, «Кавказского календаря» найденных нами писем писателя к поэту М. Б. Туманишвили и других источников мы попытались дополнить его биографию с тем, чтобы воссоздать облик человека, внесшего определенный вклад в развитие русского печатного слова на Кавказе.

И. Евлахишвили родился в городе Шемахе в дворянской семье в 1825 году. Как указывает Л. Андгуладзе, в давние времена грузинские дворяне различных фамилий, узнав, что

¹ Л. Н. Андгуладзе. Дореволюционные русские переводчики поэмы Ш. Руставели. — сб.: «Вопросы древнегрузинской литературы». Тбилиси, 1968, с. 163—188 (на груз. яз.). Далее все указания на воспоминания сына даны по этому изданию.

в городе Евлахе некий хан убил грузинских князей, решили ему отомстить. Они убили хана, захватили Евлах и поселились в нем. Эти дворяне и стали зваться Евлахишвили. Живя в Азербайджане, они не утратили ни своей веры, ни своего языка. Детство будущий писатель провел в Шемахе в родительском доме, но обрушившееся на город землетрясение заставило их покинуть насиженное место и переселиться в Баку. А когда пришло время дать Ивану образование, его отвезли в Тбилиси. Воспитывался он в Благородном пансионе при Тифлисской гимназии, по окончании которого поступал на математическое отделение философского факультета Московского университета (ЦГИАМ, ф. 418, оп. 10, д. 133). Сын И. Евлахишвили в своих воспоминаниях пишет, что отец окончил университет, но в картотеке Е. Вейденбаума (Ин-т рукописей им. К. Кекелидзе АН СССР) указано, что И. Евлахишвили в «Московском университете курса не кончил». Действительно, уже в 1842 году он начинает служить в Тбилиси, а тогда ему было всего 17 лет.

Итак, 20 декабря 1842 года И. Евлахишвили был принят одновременно на должность корректора и помощника редактора газеты «Закавказский вестник» с окладом 300 рублей серебром» (ЦГИА СССР, ф. 4, оп. 9, д. 3). В 1843 году, согласно Е. Вейденбауму, «...когда Стелецкий отказался от редакторства, И. Евлахов был назначен исполняющим обязанности редактора газеты «Закавказский вестник», а через год получил чин коллежского регистратора».

Работа в газете обогатила его знаниями и опытом, привила вкус к литературе, приобщила к русскому слову, сделала его отличным журналистом. Ему принадлежат замечательные статьи, бытовые очерки, зарисовки, касающиеся в основном истории и этнографии Закавказья, написанные с большим профессиональным мастерством: «Заметки о Тифлисе» («Кавказ», 1846, № 23), «Новый год в Тифлисе» («Закавказский вестник», 1847, № 1), «Заметки по пути в Мингрелию» («Кавказ», 1847, № 7, 9) «Муша» («Кавказ», 1851, № 25) и др. Каждая статья — отражение современности, стиль — динамичный, диалоги — живые. Многие очерки по своей образности и мастерству — истинно художественные произведения.

Особенно интересны очерки, посвященные Тбилиси и его жителям. Тбилисское общество в них показано как бы изнутри, путем анализа раскрываемых событий. С живым участием описывает И. Евлахишвили рабочий люд. Он — первый из русских писателей, ярко раскрывавших бесправие и нищенское

положение «муши» — рабочего. Хотя очерки и лишены социальной глубины, они пронизаны искренним сочувствием к простому народу, к его тяжелой доле.

Очерки оригинальны по своей композиции. Например, «Заметки о Тифлисе» представляют собой поэтическое описание жаркого летнего дня в городе — с раннего утра до позднего вечера. Светлым праздничным настроением пронизан один из самых ярких очерков — «Новый год в Тифлисе», удивительно точно передающий дух эпохи. Он написан динамично, «озвучен» шумами большого города, «окрашен» праздничными новогодними красками, благодаря чему достигается необыкновенный эффект присутствия.

Глубоко патриотичны «Заметки по пути в Мингрелию», в которых писатель, проявляя глубокое знание истории страны, с большой любовью описывает различные уголки, города, памятники культуры Грузии, рисует красочные картины природы. В то же время описание путешествия явилось для него поводом для серьезных размышлений об истории Грузии, в которых писатель выступает как объективный художник, патриот и гражданин.

Сын И. Евлахишвили указывает, что в 1845 году «по воле генерал-адъютанта Нейдгардта» отец «был освобожден от должности редактора «Закавказского вестника» и направлен на исполнение должности по судебному ведомству», согласно же «Кавказскому календарю» с 1846 года И. Евлахишвили начинает работать помощником смотрителя вновь организованной типографии Главного управления наместника Кавказского Я. Н. Арзанова. Типография сыграла большую роль в печатании газеты «Кавказ» и вообще всех русских изданий в Грузии. А место И. Евлахишвили в «Закавказском вестнике» занял губернский секретарь Я. П. Полонский, будущий выдающийся русский поэт.

И. Евлахишвили глубоко знал как грузинскую, так и русскую литературу, он одним из первых в Грузии писал о творчестве Пушкина, Карамзина, Гнедича и др. Одновременно он принадлежал к числу писателей, стремившихся своим творчеством пропагандировать грузинскую культуру и литературу среди русских читателей и, в первую очередь, поэму Ш. Руставели.

Известно, что в 1827 году видный лексикограф Н. Чубинашвили в журнале «Азиатский вестник» (№ 6) впервые привел на русском языке краткое содержание поэмы. В 1842 году его племянник, профессор Петербургского университета Д. Чубина-

швили в статье «О грузинской поэме «Вепхис-Ткаосани» или «Барсова кожа» (ЖМНП, № 8, XXXV, с. 112—126) привел несколько строф поэмы в своем подстрочном переводе. В 1845 году поэт И. Бартдинский с помощью подстрочника Д. Чубинашвили и под его руководством осуществил стихотворный перевод нескольких отрывков из поэмы, опубликовав их в журнале «Иллюстрация» (1845, № 6, 7). В это же время, независимо от И. Бартдинского, поэму переводит И. Евлахишвили, опубликовавший свой перевод в «Кавказе» (1846, № 15). История этих переводов, полемика, развернувшаяся вокруг них между И. Евлахишвили и Д. Чубинашвили на страницах «Кавказа», подробно изучены грузинскими и русскими учеными (А. Хаханашвили, Б. Барсовым, П. Берковым, Г. Имедашвили, В. Шадури, И. Богомоловым, М. Бердзнишвили, Л. Андгуладзе и др.). И. Евлахишвили в своих статьях выступает острым полемистом, оказавшись как теоретик значительно сильнее, нежели поэт-практик. Хотя Д. Чубинашвили в своей критике перевода И. Евлахишвили в общем-то прав, сегодня ученые утверждают, что в споре о методах перевода он во многом уступает Евлахишвили. Признано, что оба перевода поэмы как первые попытки были, безусловно, интересными, но неудачными; более совершенные переводы поэмы появятся значительно позже, но на правильном пути как теоретик перевода стоял именно И. Евлахишвили, который доказывал, что хорошо перевести Руставели можно только зная грузинский язык.

Несмотря на суровую критику, писатель не утратил желания еще раз перевести поэму, его интерес к ней не иссякал никогда. В своих «Заметках по пути в Мингрелию» он с любовью и восхищением пишет о народе, глубоко знающем поэму Руставели. Над переводом поэмы И. Евлахишвили не переставал работать всю жизнь. Варианты своих переводов он читал в кругу друзей. По воспоминаниям сына, на одном из чтений перевода поэмы в 1880 году среди прочих присутствовали первый музыкальный деятель Грузии Б. Саванели и писатель А. Казбеги. Перевод был очень тепло принят, все наперебой с восторгом жали переводчику руку. Возможно, этот вариант перевода был намного лучше первого, но, к сожалению, он не сохранился.

О том, что И. Евлахишвили работает над переводом поэмы Ш. Руставели, хорошо было известно общественности. Недаром известный русский композитор М. М. Ипполитов-Иванов обратился именно к нему с просьбой написать стихотворное либретто для оперы «Витязь в тигровой шкуре», которую он

предполагал написать, но И. Евлахишвили отказался, боясь, что не справится.

В своей полемике Д. Чубинашвили и И. Евлахишвили ходились и в принципах исторического воззрения на время, в которое создавалась поэма. В их спор вмешался известный литератор и общественный деятель Д. Кипиани, который подверг критике взгляды И. Евлахишвили («Кавказ», 1846, № 33). Но современные ученые не без основания признают, что евлахишвилевское определение характера эпох вообще и эпохи царицы Тамар в частности более близко прогрессивному подходу к истории, чем определение Кипиани. В связи с этой полемикой Н. Махарадзе доказывает, что И. Евлахишвили «был не только поэтически одаренный человек, но и историк в полном смысле слова, масштаб и логика мышления которого приближают его к современному научному пониманию исторических процессов» (Н. Махарадзе. Русская газета на Кавказе в 40—50 гг. XIX в. Тбилиси, 1984, с. 156). О глубоком знании Евлахишвили истории древней Грузии свидетельствует и его статья «Взгляд на исторические события в Грузии в XI—XII вв.» («Кавказ», 1846, № 7).

В дальнейшем И. Евлахишвили писал множество стихов и переводил грузинскую и восточную поэзию. Собственные стихи, а также переводы грузинской и восточной поэзии включал в свои прозаические сочинения.

Писатель принимал деятельное участие в культурной жизни Тбилиси, был связан дружескими узами со многими деятелями своего времени. Литератор М. Майсуров, подвергшийся вместе с ним критике со стороны Д. Кипиани за произведение о царице Тамар «Замок Варцixe», посвятил И. Евлахишвили рассказ «Магдалина» («Зак. вестник», 1854, № 36). На протяжении всей жизни писатель вел деятельную переписку с поэтом-романтиком М. Туманишвили (письма его нами найдены в Институте рукописей АН СССР, в фонде М. Туманишвили). В этих письмах повествуется о пиршествах друзей в Ортачалском саду, о постоянной нужде, которую испытывали начинающие писатели, и т. д.

Но постепенно материальное положение И. Евлахишвили начало улучшаться, в 1849 году он был назначен столоначальником по карантинной части канцелярии Управляющего карантинно-таможенным округом Закавказского края.

В том же году в типографии Главного управления наместника Кавказского была напечатана повесть Евлахишвили «Шамлибельская долина», до этого публиковавшаяся в «Зак.

вестнике» (1849, № 12—18, 25—30). Повесть эта, явившаяся результатом увлечения писателя азербайджанской народной поэзией, была написана на основе переведенных им же песен ашугов о герое народного эпоса «Кер-Оглы». В основу ее легла легенда о любви Кер-Оглы к красавице Гюльнаре, которую он уступает своему другу Демурчу, также полюбившему прекрасную невесту героя-рыцаря. Повесть И. Евлахишвили с введенными в текст переводами песен Кер-Оглы — совершенно самостоятельный вариант легенды. Это — одна из первых публикаций о Кер-Оглы на русском языке. Правда, в 1830 году известный этнограф-кавказовед И. Шопен опубликовал в «Тифлисских ведомостях» (№ 54—56, 68) романтический пересказ содержания эпоса, а в 1842 польский поэт, переводчик и ученый-ориенталист А. Л. Ходзько издал на английском языке в Лондоне «Кер-Оглы», что положило начало научному изучению эпоса. В 1856 году С. Пенн перевел эпос с английского на русский язык и издал его в Тбилиси. Перевод стал предметом полемики в столичной прессе. Сопоставление повести И. Евлахишвили и перевода С. Пенна представляет определенный интерес. Оба произведения пользовались большой популярностью. «Шамлибельская долина» привлекала внимание благодаря увлекательному сюжету, решенному писателем в несвойственной для восточного фольклора мелодраматической манере.

Больше всего критика обрушивалась на С. Пенна за игнорирование им социальной стороны эпоса. Это замечание можно отнести и к Евлахишвили. У него Кер-Оглы совершает подвиги в борьбе против султана, желая завладеть прекрасной Гюльнарой, а не из-за ненависти к угнетателям.

Но в одном отличие у них все же есть, оно касается также дискутировавшегося в прессе вопроса об отношении Кер-Оглы к женщине. С. Пенн в своем предисловии писал, что в эпосе характер женщины не идеализируется, что женщина для Кер-Оглы представляет интерес лишь в том случае, если обладание ею сопряжено с риском и опасностью. И. Евлахишвили дает совершенно другой образ Кер-Оглы — романтического рыцаря, совершающего подвиги ради дамы своего сердца, посвящающего женщине свои лучшие песни. К тому же он верный и преданный друг, превыше всего ставящий мужскую дружбу. Эти мотивы, на наш взгляд, сближают Кер-Оглы в интерпретации Евлахишвили с героями «Витязя в тигровой шкуре». Возможно, именно поэтому З. Антонов написал на сюжет повести свою трагедию «Кер-Оглы». Об этом прямо го-

ворится в «Кавказе» (1853, № 42), высоко оценившем пьесу Антонова. М. М. Ипполитов-Иванов попросил И. Евлахишвили написать либретто к будущей его опере о Кер-Оглы, на что писатель отвечал: «Боюсь, мне написать либретто не по зубам. Скажу по правде: для меня повесть, пьесу легче написать» (См. указ. статью Л. Андгуладзе, с. 175).

И. Евлахишвили был одним из первых собирателей народных песен Грузии. Его статья «О народных песнях и певцах Грузии» («Кавказ», 1850, № 64, 65) заложила основы изучения грузинского песенного фольклора. В ней автор приводит тексты различных грузинских народных песен, впервые переведенных им на русский язык, одновременно предпринимает первую попытку научного исследования грузинской народной поэзии, национальных инструментов, творчества народных певцов Грузии. Особое внимание он уделяет поэзии ашугов, что, несомненно, было вызвано его увлечением эпосом «Кер-Оглы». Статья свидетельствует также о большой любви и прекрасном знании им грузинской народной речи, музыки, фольклора. В первом номере «Записок Кавказского отдела русского географического общества» (1852), членом которого Евлахишвили являлся с самого его основания, кроме дающей богатую информацию научной статьи «Тифлиские караван-сарай», был опубликован его труд «Грузинские пословицы и поговорки», в который вошло 100 грузинских пословиц, с большим мастерством переведенных им на русский язык.

Писатель, являясь подлинным интернационалистом, интересовался жизнью всех закавказских народов. В 1852 году печатается его увлекательно написанный рассказ «Необыкновенный случай» («Кавказ», № 18), посвященный жизни армян-бедняков, в 1857 году («Кавказ», № 74, 75) — цикл статей, освещающих вопросы азербайджанской этнографии.

И. Евлахишвили по натуре был живой, непосредственный и экспансивный, очень артистичный человек, любил театр. Уже в одной из первых статей, посвященных гастролировавшему в Тбилиси механическому театру кукол Крамеса («Кавказ», 1846, № 9), он горячо приветствует открытие в городе русского драматического театра, дает описание культурной и театральной жизни тех лет. Творческая дружба связывала И. Евлахишвили с выдающимся грузинским драматургом Г. Эристави, постановка пьесы которого «Раздел» в 1850 году знаменовала собой рождение нового грузинского театра. Позже Евлахишвили выступил и как театральный критик, написав рецензию на постановку «Раздела» («Кавказ», 1855, № 2), кото-

рую он высоко оценивает, сравнивая героев пьесы с типами мольеровского «Мещанина во дворянстве» и гоголевского «Ревизора». В этой же рецензии он тепло отзывается о драматургии З. Антонова.

В том же 1850 году И. Евлахишвили создает на русском языке комедию-водевиль в двух действиях «Свадьба», которая была представлена на сцене Тифлисского русского театра 3 декабря 1850 года и явилась первой национальной пьесой в Грузии на русском языке. Напечатана она была в Тбилиси в 1851 году в типографии восточных языков Г. Гулианца.

В комедии рассказывается о том, как обедневший русский чиновник Капитон Демьянович Наседкин обманным путем решает жениться на дочери тбилисского усташаши Лапчинова с целью получить наследство в полторы тысячи рублей. Родители невесты загорелись честолюбивой мечтой породниться с русским чиновником, но девушка любит молодого лавочника Гиго. В конце обман раскрывается — выясняется, что чиновник уже женат, и усташаши вынужден согласиться на свадьбу дочери с молодым Гиго.

При незамысловатом сюжете в комедии воссозданы яркие колоритные типы тбилисских жителей, местные нравы. Типичный для того времени сюжет разработан автором по-водевильному легко и увлекательно. Спектакль вызвал полемику в прессе, анонимный рецензент «Зак. вестника» (1850, № 50) взял под свою защиту пьесу, оценив ее «как более или менее характеризующую закавказские нравы». Пьеса неоднократно шла в театре и пользовалась неизменным успехом, чему способствовало и участие в спектакле таких замечательных актеров, как комик Иванов, А. Яблочкина, Арнольд и др.

Пьеса, несомненно, интересна как отображение нравов своего времени, как пародия на тех чиновников, которые устремлялись на Кавказ в погоне за большими чинами и окладами. В ней ярко отразилась неприязнь автора к подобным «ловцам счастья и чинов», вообще ко всему чиновничье-бюрократическому аппарату царского самодержавия.

Высмеивание чиновников, честолюбивых офицеров имело под собой реальную основу. Как тут не вспомнить характеристику, которую дает Лермонтов одному из своих персонажей в «Маскараде»:

**О, малый он нецененный:
Семь лет он в Грузии служил,
Иль послан был с каким-то генералом,**

Из-за угла кого-то там хватил,
Пять лет сидел он под началом
И крест на шею получил.



И. Евлахишвили, человек вспыльчивый и эмоциональный, не скрывал своего отношения к царским чиновникам. Об одном из таких выпадов против видного русского чиновника, мужа сестры жены И. Евлахишвили, рассказывает о своих воспоминаниях сын писателя.

Вероятно, этот образ мыслей и явился причиной того, что карьера Евлахишвили, вначале столь успешно продвигавшаяся, внезапно оборвалась. В 1851 году он был назначен секретарем Тифлисской таможни, а в 1854 году — секретарем Коммерческого суда. Крупные чиновники весьма благоволили к способному молодому человеку, превозносили его таланты и сулили блестящую будущность. Но в 1857 году он написал статью, в которой недвусмысленно осуждал политику царизма в Закавказье. Он был обвинен в вольнодумстве, чиновники отвернулись от него, его отстранили от должности и в 1858 году выслали из Грузии в глубокую провинцию — в город Нуху Шемахинской губернии, где он служил заседателем от короны при уездном суде. Но вскоре он был переведен чиновником особых поручений при военном губернаторе, управляющем гражданской частью князе К. Д. Тархан-Моурави в Шемаху. Здесь же он исполнял обязанности секретаря местного учебного заведения Св. Нины. Но пребывание в провинции не могло не тяготить писателя, оторванного от друзей, от культурной жизни Тбилиси. В письме к М. Туманишвили от 21 мая 1858 года, посланном из г. Шемахи, он жалуется на скуку и пустоту местной жизни. Он узнал, что М. Туманишвили «должен быть повышен в должности, переведен на место Сараджева, и если это произойдет», то пусть он похлопочет, «чтобы на его прежнее место перевели его», Евлахишвили. Его тянет в Тбилиси, он мечтает отдохнуть там душой, тоскует по театрам, по своим любимым постановкам — операм Беллини и Доницетти. В письме он пишет также: «Стараясь об основании Шемахинского театра», рассказывает о бале в честь присвоения генеральского чина князю К. Тархан-Моурави. Тогда же писатель побывал в Баку и увлекательно описал культурную жизнь города в статье «Неделя в Баку» («Кавказ», 1861, № 100).

Просьба его была услышана, друг помог ему, и в 1861 году И. Евлахишвили был переведен в Тбилиси и назначен старшим делопроизводителем Канцелярии Тифлисского военного гу-

бернатора. Одновременно он активно включился в общественную жизнь. Как отличному знатоку права ему поручаются особенно важные следственные дела, его избирают членом комиссии для отрезивирования дел Дирекции училищ Тифлисской губернии, секретарем Главного комитета «о конских скачках», по делам которого в 60-е годы он ездил в Германию, Францию, Англию.

Внезапно в 1864 году служба его вновь прерывается. Неизвестно, то ли по причине того, что писатель стремился полностью отдаться литературной деятельности, то ли отставка была вынужденной, связанной с радикальностью его взглядов. Вероятнее всего второе, т. к. материальное положение не позволяло ему пренебрегать службой.

В 1864 году он стал сотрудником журнала «Дискари». В первом номере журнала за этот год был напечатан его замечательный литературоведческий труд «Персидская поэзия», материалы для которого были взяты им из французских источников. В нем рассматривается творчество Фирдоуси и Саади, изучить наследие которых помогло писателю знание персидского языка. Статью предваряют слова: «Наша редакция нашла к новому году еще одного сотрудника, хорошо знающего русский язык, который часто пишет и печатается в различных газетах. Отныне он обещает оказывать нашему журналу содействие и предоставлять свои произведения на грузинском языке». Здесь же помещено объявление, что в скором времени в журнале будет печататься роман И. Евлахишвили «Аврора». Но это обещание так и не было выполнено.

В 1867 году И. Евлахишвили — уже штатный сотрудник «Дрозда», о чем свидетельствует его письмо к М. Туманишвили от 25 мая 1867 года.

Но вскоре писатель вновь отсылается из Тбилиси — назначается областным прокурором прокурорского надзора гражданского управления в Терском областном суде. С тех пор до конца своей жизни он служит вдали от Грузии.

И. Евлахишвили был женат на Пелагее Картвелишвили. В 1872 году у них родился сын Сергей, ставший впоследствии известным оперным баритоном, одним из организаторов грузинского оперного дела. В тот же год писатель был переведен мировым судьей 2-го участка Новогригорьевского уезда Ставропольского окружного суда. В 1879 году в чине статского советника он переводится судьей 1-го участка того же уезда, его избирают председателем Александровского судебного мирового округа, непременным членом суда. Семья его в это время жи-

ла в Телави, каждый его приезд был всегда большим праздником.

Занимался ли он литературной деятельностью в эти годы?

Кроме опубликованной в 1887 году в газете «Новое обозрение» (№ 1060) статьи «Дюма-отец в Шемахе» — воспоминаний о встрече с великим французским романистом в 1860 году — не найдено ни одного произведения писателя тех лет, хотя его сын рассказывает, что на встречах с друзьями в Телави отец читал свои поэтические, прозаические произведения, изображал в лицах пьесы и водевили собственного сочинения. По всей видимости И. Евлахишвили печатал свои произведения, но под псевдонимами, поэтому отыскать их сегодня трудно. Н. Махарадзе доказывает, что статья «Уголья и угольщики», напечатанная в «Кавказе» (1846, № 9) анонимно, принадлежит перу И. Евлахишвили, как и статья «Монастырь св. Давида» («Кавказ», 1846, № 7), подписанная псевдонимом «...Ъ...И». Проведенный нами анализ этих статей убеждает, что по своему содержанию и стилю они очень близки другим статьям писателя. И такие произведения И. Евлахишвили, написанные под псевдонимом или вовсе не подписанные, вероятно, можно обнаружить и в русской, и в грузинской прессе тех лет.

И. И. Евлахишвили так и не разрешили вернуться на родину. В 1888 году, ровно сто лет тому назад, его не стало.

Жизнь этого интересного человека, глубоко преданного своей родине прогрессивного деятеля, одного из первых переводчиков поэмы Шота Руставели на русский язык — пример подлинного интернационализма, служения идее дружбы и братства между закавказскими народами и народами всей нашей страны.



Светлана ДЖАПАРИДЗЕ

„Искусство там, где сердце и душа“

Мертвые, о которых помнят, живут так же, как если бы они не умирали.

М. Метерлинк «Синяя птица».

Автандил Варази, человек удивительного таланта, работал, не подделываясь ни под чей вкус, рисовал потому, что не мог не рисовать и на протяжении всего творческого пути был последователен в своих убеждениях. В силу этого он и оказался вместе с замечательными художниками своего поколения в авангарде ищущих и дерзающих. Ибо был творцом, мыслителем, художником и артистом.

Семья Варазишвили жила в большом тбилисском доме-крепости, соединенном подземными туннелями с Анчисхатской церковью, расположенной напротив.

Глава семьи дед Софром, по профессии пекарь, имел четырех сыновей — Иване, Исидоре, Василия и Георгия. Сегодня можно говорить о значении общественной деятельности братьев Варазишвили, об их вкладе в развитие черной металлургии в Грузии, современной биохимии, в дело популяризации грузинского языка и литературы.

Старший сын Софрома Иване Варазишвили, получив образование в Петербурге, стал инженером путей сообщения. Он хорошо владел русским, французским, немецким и персидским языками.

Будучи инженером-полковником, участвовал в строительстве Бакурианской, позднее Транскавказской железных дорог.

Сокращенный вариант эссе об Автандиле Варази.

Са 5921
202.001.0033

В годы первой мировой войны руководил строительством железнодорожной магистрали Джульфа — Баку и Эрзрум — Сакрамыш. Вместе с ним работал и его брат Исидоре — тоже инженер-путеец.

Интересы и знания братьев были разнообразны: так, в 1917 году они взялись за промышленное развитие чиатурского марганцевого рудника, будучи одними из руководителей акционерного общества, которое занималось вопросами разработки чиатурского марганца. Находясь в Германии по делам «акционерного общества», они сблизились в Берлине с чемецким картвелологом Рихардом Мекелайном, который помог основать издательство «Ближний Восток», выпустившее первый учебник немецкого языка на грузинском языке и журнал «Morgen Land».

Кроме этого ими было основано общество Руставели, цель которого — материальная помощь грузинской молодежи, получавшей образование в Европе.

История братьев Варазишвили, необычайно интересная, полная волнующих и драматических событий, тесно связана с важнейшими вехами жизни нашей страны, республики.

В доме Варазишвили собирались передовые люди того времени — ученые, инженеры, композиторы, певцы, художники и писатели. Среди них — Тамара Абакелия, Захарий Палиашвили и Дмитрий Аракишвили, Шалва Дадияни и Михаил Джавахишвили, Иосиф Имедашвили, Константинэ Гамсахурдия и многие другие.

Их притягивало сюда радушие хозяев, дух, который царил в семье, высокий интеллект ее членов, их любовь к музыке, искусству, а главное к родине. Но долгое время никто ничего не знал о них. Лишь в апреле 1988 года в газете «Литературули Сакартвело» («Литературная Грузия») появилась статья С. Рехвиашвили, в которой рассказывалось о жизни двух старших братьев — Иване и Исидоре.

В 1928 году с разрешения Советского правительства Иване, оставив дома жену и четверых детей, едет строить железную дорогу от Ирана до границ Индии.

Оттуда, напуганный слухами и разоблачениями в печати «врагов народа», уже не возвращается. Его постигла печальная судьба эмигранта, тоскующего по Отчизне, нажившего огромное состояние и умершего в 1955 году на чужбине в полном одиночестве. Исидоре же был расстрелян в 1937 году как враг народа, народа, которому служил верой и правдой.

Их детей репрессировали и сослали, кого в Сибирь, кого

в Среднюю Азию. Впоследствии они были полностью реабилитированы. После долгих страданий и мытарств эти высокообразованные и достойные, как и их родители, граждане своей страны вернулись в Грузию.

Третий сын — Василий стал известным ученым. Он учился в Харьковском университете на лечебном факультете и, невзирая на заманчивое предложение своего коллеги профессора Роберта Кримберга поехать с ним в Германию и работать в Лейпцигском университете, закончив учебу, вернулся домой.

И, наконец, четвертый сын — Георгий, окончивший Горный институт в Берлине, женившийся там на эстонке, вернулся в Грузию и чудом спасся в годы репрессий. Впоследствии он стал доцентом кафедры маркшейдерии и геодезии Политехнического института.

Из старого дома, что был расположен напротив церкви Анчисхати, все дети разлетелись. Одни, чтобы навсегда уйти из жизни, другие, устраивая ее так или иначе.

Василий же Софромович, третий сын Софрома Маркозовича, отец Автандила Варази по окончании университета, получив звание врача в 1914 году, был мобилизован на фронт, где служил полковым врачом в казачьем полку.

По окончании войны он с большими трудностями вернулся в Грузию. Уже после революции поселился в одном из respectable районов Тбилиси, в доме, некогда приобретенном его старшим братом по улице Анастасиевской (ныне — Софьи Перовской). Вскоре блестяще защитил докторскую диссертацию. Ему предложили вести кафедру биохимии в Тбилисском медицинском институте. Василий Софромович был обаятельным человеком большой культуры, честным, скромным и трудолюбивым. Таким он остался в памяти тех, кто знал его.

Автор восьмидесяти пяти блестящих научных исследований в области биохимии и медицины, он известен также многими оригинальными идеями и интересными научными трудами, не раз опубликованными за границей и привлечшими внимание зарубежных коллег.

Так, в 1939 году Комитет по Нобелевским премиям института королевства Каролины в Швеции пригласил Василия Варази принять участие в конкурсе на соискание Нобелевской премии.

В приглашении, подписанном председателем Комитета Гукаром Холмгренем, говорилось: «Мы имеем честь пригласить»

силь Вас по поручению королевства Каролины на соискание Нобелевской премии в области биологии и медицины». Надо сказать, что В. С. Варази был первым советским грузинским ученым, работавшим в области биологии и медицины, которому была оказана такая высокая честь. До него этой почетной награды были удостоены в начале века лишь И. Павлов (1904) и И. Мечников (1908).

Шел 1939-й год — тревожное время гонений на генетику и биохимию. Зная об этой исключительно сложной ситуации в стране и, в частности, о печальной истории членов своей семьи, В. Варази не только не ответил на это приглашение, но и хранил его в тайне в течение тридцати лет. И только после смерти Василия Софромовича его племянник среди старых книг случайно обнаружил это приглашение, отпечатанное на гербовой бумаге королевства на шведском и немецком языках.

В. С. Варази за свою научную деятельность был награжден орденом Ленина и многими медалями.

Он очень увлекался музыкой, прекрасно играл на физгармонии, гитаре и виолончели, которые и сейчас хранятся в семье В. Варази.

Автандил рисовать начал еще в раннем детстве. В школе был тихим и замкнутым, учился средне и никогда не любил шумных игр, вообще не занимался спортом, увлекался в основном рисованием и чтением книг.

В доме была уникальная библиотека. Старинные фолианты в кожаных переплетах, тисненные золотом, богатейшая художественная, медицинская, техническая, искусствоведческая литература составляли главную материальную и духовную ценность семьи.

Он относился к книгам пристрастно, так как благодаря им открыл для себя удивительный мир старых мастеров. Помимо древнего искусства западноевропейских художников, знал современное, любил читать биографии его великих представителей, помнил где что написано и для удобства всегда оставлял закладки в наиболее интересных и значительных для себя местах. Сам мастерил переплеты к старым, наиболее дорогим для него книгам.

Часто делал выписки из них, записывал, хотя и не систематически, а урывками, по настроению, свои соображения, в чем-то соглашаясь с авторами или же возражая им. Рассказывают, что у него в карманах были небольшие листки бумаги, куда заносил свои мысли об искусстве, о творчестве вообще.

Кое-что из этих заметок сохранилось. По ним сегодня можно лучше понять художника, его характер, увлечения, вкусы, планы.

Первым учителем рисования Автандила стал художник Леонид Николаевич Потапов, человек скромный и интеллигентный, посвятивший всю свою жизнь служению искусству.

Будучи методистом в педагогическом комитете ТОНО, он послал рисунки юных художников в Москву на конкурс. Жюри присудило Автандилу Варази премию за лучшие иллюстрации к поэме Лермонтова «Мцыри». Приз — набор акварельных красок — им так и не был получен, так как началась война.

Сохранив признательность и уважение к своему первому наставнику, Варази все же считал, что художник сам себе должен быть учителем, если он сам не почувствует и не увидит, никто его не сможет научить видеть и чувствовать. Беря уроки у природы, художник полнее, тоньше, лучше чувствует окружающий мир.

Окончив школу, он поступает на архитектурный факультет политехнического института.

Интерес к живописи, изучение архитектуры, ее истории, обширные познания в области истории искусства привели его в октябре 1948 года в аспирантуру института истории грузинского искусства Академии наук ГССР, которым руководил академик Г. Н. Чубинашвили.

Надо сказать, что Георгий Николаевич беспредельно внимательно относился ко всем своим сотрудникам и студентам. А будучи руководителем работы Автандила, прекрасно понимал, что истинное его призвание не искусствоведение, а художественное творчество.

В 1951 году Варази оставляет институт и целиком посвящает себя любимому искусству. Он посещает мастерские Л. Гудиашвили, Д. Какабадзе, общается с Джотто (Геворг Григорян), делает бесконечные зарисовки с натуры, рисует тушью, карандашом, сангиной, маслом и акварелью. Масса вопросов самому себе и ответов. «Не бери в помощь никого, кроме природы, предельно выражай свое отношение к окружающему».

К тому времени относится и его знакомство с замечательным тбилисским художником Александром Александровичем Бажбеук-Меликовым. Долгие годы их, таких разных, таких непохожих людей связывала самая теплая и искренняя дружба. В тот период Варази, несомненно, испытывал на се-

16.03.59 20
516-111033

бе силу личности и таланта этого большого мастера. Но продолжалось это недолго. Постепенно, оспаривая некоторые творческие принципы своего старшего друга, отстаивая свои взгляды, Автандил освободился от его влияния.

Используя разнообразную технику, рисовал небольшие композиции, пейзажи, натюрморты, обнаженную натуру. Свои работы щедро раздаривал друзьям, некоторые уничтожал или просто выбрасывал.

К сожалению, большая часть работ Варази того времени утеряна.

Долгие годы в силу своей природной скромности и неуверенности он не решался ни подписывать их, ни выставлять на суд зрителя, хотя для всех его знакомых и друзей давно уже было ясно, что это, несомненно, оригинальный и самобытный художник. Но для широкой общественности имя его впервые прозвучало в связи с талантливым оформлением музеев города.

В 1959 году Государственный музей Грузии имени С. Джанашиа готовил новую экспозицию археологического отделения. Руководитель музея А. И. Джавахишвили, ценя художественные способности Варази, полагаясь на его вкус, зная его особую любовь к старине, предложил ему этим заняться. Нужно было оформить сорок девять витрин и стендов так, чтобы создать единую композицию и донести до зрителя весь смысл и ценность экспозиции.

Это была сложная задача, но художник блестяще справился с ней. Более того, по утверждению известного грузинского искусствоведа профессора Вахтанга Беридзе, «Варази произвел переворот в искусстве экспозиции».

Все эти годы он продолжал много и упорно работать как живописец и график.

В 60-х годах реалистическим считалось только натуралистическое повествовательное изображение. Малейшие же деформации, гротеск, характерность, отклонение от академических правил и догм, кажущееся несоответствие цвета и формы, стилизация, плоскостное решение, свободные композиции вызывали нападки прессы.

Тогда же, летом 1960 года в Ленинграде в Эрмитаже открылась постоянная экспозиция французской живописи XIX—XX веков. Художники, любители искусства со всех концов страны получили возможность познакомиться с подлинными шедеврами, которые долгое время хранились в запасниках как формалистические, чуждые действительности произведе-

ния. Зрители были ошеломлены, восхищены буйством красок, необычностью форм. Здесь экспонировались импрессионисты и постимпрессионисты, фовисты и представители всевозможных течений. Все оказалось ново и интересно. Разумеется, не все встретили новое для них искусство с восторгом, но многие художники, спасаясь от академической косности, бросались от одной крайности в другую. Таким образом молодые художники приобщались к великому искусству, учились у его представителей мастерству, манере письма, технике, заимствовали у них цвет и форму.

Впоследствии наиболее талантливые художники, «переболев» французами, нашли свой путь в искусстве, заняли в нем достойное место.

Это было «...время, нуждающееся в талантах и выявляющее их. Время, полное поисков, переоценки ценностей, утверждающее то, что в свое время было отвергнуто, назвавшее новые имена и выявившее новые принципы творчества и накалившее творческую жизнь». Именно такое определение дано в каталоге, посвященном творчеству художников 50-х и 60-х годов, участвовавших в обновлении грузинской живописи.

На страницах печати появляются имена молодых художников Зураба Нижарадзе, Дмитрия Эристави, Тенгиза Мирзашвили. Интересные работы создают Джибсон Хундадзе, Альберт Дилбарян, Хита Кутателадзе, Лев Баяхчев. Неистово спорит Эдмонд Каландадзе, экспериментирует с отраженными предметами в зеркалах Рено Туркия. Словом, появляется целая плеяда художников, которых волнуют проблемы живописи, цвета, света, формы.

В ноябре 1962 года в Москве в Центральном выставочном зале открылась выставка, посвященная 30-летию МОСХа (Московского отделения Союза художников), на которой было представлено свыше двух тысяч работ. Здесь впервые выставлялись прекрасные произведения художников старшего поколения и совсем молодых, о которых газета «Правда» (от 2 декабря того же года) писала: «Есть на выставке произведения, которые вызывают чувство неудовлетворенности, серьезные возражения. Это относится к некоторым мастерам старшего поколения и к ряду молодых художников. В некоторых картинах Р. Фалька, А. Древина, А. Васнецова, П. Никонова, А. Пологовой явно проявляются формалистические тенденции, люди выглядят в них уродливо, принижено. ...Создают картины равнодушные и холодные, в духе подражания формалистическим образцам в живописи и графике».

Несмотря на такие нападки прессы, а может быть и именно благодаря им, выставка вызвала большой интерес. Люди часами простаивали на холоде, чтобы посмотреть работы, многие из которых никогда прежде не выставлялись.

Конфликты и дебаты, происходившие на выставке в присутствии официальных представителей власти и прессы, передаваемые по радио и телевидению, имели большой резонанс.

Экспозиция эта стала значительным событием в художественной жизни страны. Она всколыхнула совесть многих художников, обрадовала способных, удивила консервативных, испугала трусливых и приспособляющихся, но никого не оставила равнодушным.

Подтолкнула она Варази и его друга, молодого художника Баяхчева. У них возникла идея сделать персональную выставку своих работ.

Набралось более ста произведений живописи, графики и даже скульптуры. Здесь были всевозможные композиции, пейзажи, портреты, натюрморты. Среди них — реалистические полотна, абстрактные коллажи, а также работы в стиле поп-арт.

Как правило, персональные выставки устраивались только заслуженным, убеленным сединами художникам, с регалиями. А если речь шла о молодых, то обязательным условием являлась реалистическая направленность, отвечающая всем официальным академическим установкам.

Поэтому было очевидно, что им не разрешат экспонироваться ни в одном выставочном зале города.

Тогда их общий друг Алико Гегечкори, заведующий отделом истории историко-этнографического музея, предложил для этой цели свою квартиру на улице Чонкадзе, в одном из самых красивых домов Тбилиси.

Большой и светлый зал с высокими потолками был прекрасным местом для выставки.

С увлечением взялись молодые художники за подготовку экспозиции. Предполагалось провести ее открытие с музыкальным сопровождением. Пригласительные билеты были написаны от руки, с указанием дня открытия и адреса.

Во время работы над экспозицией приходили друзья, знакомые. Рассматривали работы, восхищались, удивлялись. Пришел и Серго Кобуладзе. Он одобрил энтузиазм молодых и поздравил их. Ведь они работали так, как чувствовали, только по велению души, не за страх, а за совесть.

К сожалению, открытие этой интереснейшей выставки в 1962 году так и не состоялось.

Председатель Союза художников Грузии, лично посетивший ее, категорически предложил закрыть экспозицию. Когда же авторы попытались настоять на своем, руководство Союза художников, оставив на ночь в квартире Гегечкори дежурного, прислало утром грузовую машину с работниками милиции. Все работы были сняты со стен, с подиумов, увезены и сброшены в каком-то подвале.

Эта история не получила никакой официальной огласки. Но А. Варази вызывали вместе с отцом в МВД, взяли с него расписку впредь не создавать ничего формалистического, чуждого социалистической действительности и предложили избрать какую-нибудь другую мужскую профессию, взяться за ум и прекратить ребячество. Было выражено удивление, что внук известного революционера Саша Гегечкори содействовал устройству такой выставки. Все это произвело на Варази тяжелое впечатление. Он долгое время ходил удрученный, не мог и не хотел ничего делать.

В дальнейшем в его записях было найдено известное изречение Л. Толстого — «Чтобы жить честно, надо рваться, биться, ошибаться, начинать и бросать и опять начинать и опять бросать и вечно бороться и лишаться, а спокойствие (есть) душевная подлость».

В 1962 году Варази впервые приносит в Картинную галерею на весеннюю выставку «Портрет молодого поэта». Друзья буквально заставили его выставить эту работу, и с тех пор он уже постоянно стал участвовать в выставках и своими произведениями сразу же выделялся из общей массы художников. Его картины стали ждать, узнавать, а узнавая, радоваться встрече с новой работой.

В картинах Автандила Варази — краски лазурного неба, морей и озер, синих гор, голубого рассвета и тихого заката, переливающегося всеми цветами радуги.

В них — наши современники с чистыми глазами, задумчивые и как бы очищенные от всего мирского. В них — душа художника, его мысли, муки и радости.

В нем чувствовалась постоянная напряженная работа сердца, души, мысли. Ведь без них нет настоящего искусства, как нет и настоящего человека. Так и выплескивались его портреты и натюрморты, небольшие по размерам, как разноцветные жемчужины.

«Всякий портрет, написанный с любовью, — утверждал

Оскар Уайльд, — это в сущности, портрет самого художника, а не того, кто ему позировал. Не его, а самого себя раскрывает на полотне художник». И в портретах Авто очень много от него самого. Эти лица притягивают и не отпускают. В них его улыбка, взгляд, наклон головы, посадка. Буквально в каждом портрете незримо присутствует художник. Их объединяет культура исполнения, интеллект и шарм, присущий как творчеству, так и самому Автандилу Варази.

У него есть совершенно особенные портреты. Так, в 1963 году им был написан «Портрет Сирануш» — собирательный образ вульгарной кокетки с огромными глазами, густыми бровями и длинным носом, образ угловатой и некрасивой женщины. У нее большая голова на длинной и худой шее, всклоченные кучерявые волосы и острые плечи.

Какая острая характеристика и какое противоречивое отношение автора к этой, в принципе, жалкой женщине! В этом портрете ирония и жалость смешаны с любовью и добротой.

Героиня стала живой женщиной, она зажила своей жизнью, и представьте — стала красивой!

В те годы по различным организациям ходил и предлагал ноты букинист, которого все звали Лево́й. Это была колоритная личность. Тщедушный человек маленького роста с узкими плечами, большими выразительными глазами, крупным длинным носом. У него были большие оттопыренные уши, жидкие волосы, прилипшие ко лбу. Голова держалась на тонкой шее с выступающим кадыком. Весь его облик заинтересовал Авто. Но маленький букинист, будучи человеком суеверным, ни за что не соглашался позировать художнику. Считал — если его нарисуют, он непременно умрет. Тогда Авто по памяти написал его портрет. Это одна из лучших работ художника.

Рожденные фантазией художника натюрморты с обыкновенными прозаическими бутылками существенно отличаются друг от друга. В них остро чувствуется тоска по старинным вещам, безвозвратно уходящим из обихода современного человека. Даже невероятно, что обыгрывая простую форму, можно создать такие высокохудожественные произведения с Идеей и Смыслом — Всеобщей идеей любви, смыслом жизни, выразить в натюрмортах свой недюжинный талант.

Варази сделал интересную серию композиций «Скрипка». Техника исполнения смешанная. Это коллаж, где главным материалом послужил верхний корпус скрипки. Такой интерес

не случаен, как нет ничего случайного в его творчестве. Серия скрипок выстраивается в целый стройный рассказ об отношении автора к музыке и о том, что именно было ближе всего ему. Повторение скрипок ни в коем случае не копии. Они как портреты разных людей, у которых те же два глаза, один нос и один рот, а люди то грустные, то веселые, то поющие, то плачущие. И все трактуется по-разному, отличаются расположением — то вертикально, то горизонтально, то в вихревом обрамлении, то на фоне маленьких фотографий, нотных станов, букв и слов, смысл которых сейчас трудно восстановить, то читаем фамилии великих, любимых художником композиторов Баха, Шопена, Паганини и многое другое, более тонкое и возвышенное. Такая нюансировка не всегда подвластна описанию. Только посмотрев эти произведения непременно вместе, рядом, можно увидеть, прочувствовать и понять, о чем хотел сказать их автор.

Варази работает очень интенсивно. Его рисунки становятся все лучше и интереснее. А между тем многие говорили, что он все время сомневался в себе. Но эти легкие, быстрые и уверенные линии пером, карандашом, так не соответствовавшие внешним проявлениям характера художника, очевидно, были вполне оправданы его внутренней сущностью. Ведь не напрасно же наедине с самим собой Авто писал: «Полное доверие внутреннему чувству, никаких сомнений и робости».

Шли годы. Он продолжал работать так, как хотел того сам, как чувствовал и видел. Говорил: «Не имеет значения, каким способом и по каким канонам будет создано произведение, главное, чтобы оно дышало».

Приблизительно в ту же пору привлекают к себе самое пристальное внимание его работы в стиле поп-арт. Отношение к ним было самое разное. Их ругали, хвалили, ими восторгались, удивлялись, но именно в них художник выразил себя наиболее сильно, сильнее даже, чем в портретах, натюрмортах. В них было его настроение, его раздумья, его жизнь, порой беспорядочная, странная, непонятная со стороны, но, несомненно, динамичная, интересная, со взлетами и падениями.

Никогда не выставлял Варази этих композиций на официальных выставках. Хранил их у себя. Некоторые дарил друзьям, другие попадали к коллекционерам и таким образом разными путями начинали путешествовать по стране, были вывезены за границу именно частными коллекционерами и оказались во Франции, Америке и других странах. По своей на-

туре творец и эстет, Авто считал, что даже некрасивое и безобразное можно и нужно превращать в прекрасное.

Как-то придя домой поздней ночью, он вывернул манжеты брюк. Убедившись, что они пусты, бросил их на стул. Наутро, проснувшись, увидел на стуле морду животного, уставившегося на него грустными глазами.

Сегодня эта «Голова быка», закрепленная на шероховатой и загрунтованной гипсом доске, зафиксированная клеем, хранится в Нью-Йоркском музее «Модерн арт». Когда музей объявил закупку произведений современных советских художников, некто Н. А. Стивенс, которая вывезла произведения Варази в Америку, предложила музею его работу «Голова быка». Закупочная комиссия в составе тринадцати человек единогласно приняла ее. Такое единодушие для этой комиссии явление очень редкое.

В ней художником найден живой образ, настолько привлекательный и трогательный, что вначале и не думаешь о материале, из которого создано произведение.

Через некоторое время он повторил эту работу, несколько видоизменив ее. Получилась «Голова барашка». Сейчас она находится в экспозиции музея Востока также в Нью-Йорке.

В западной прессе Автандила Варази относят к нонконформистам. Думаю, это неверно, так как нонконформизм обозначает несогласие с общепринятыми нормами искусства вообще, Варази же вобрал в себя все лучшее в нем, любил мастеров прошлого, восхищался древним национальным грузинским искусством: архитектурой, фресками, утварью. Словом, любил высокое искусство в лучшем смысле этого слова. Объясняя свое увлечение поп-артом, коллажем писал: «Любое новое открытие со временем становится обыкновенным происшествием и никого не волнует, но это открытие необходимо, сегодня никого не волнует колесо, а в свое время оно было чудом, сегодня оно никого не волнует, но без него ничто техника: так же кубизм, он стал средством, а вначале был целью; так же коллаж, когда хочешь максимально передать фактуру, структуру, чтобы усилить действие рисунка, и эту возможность не даст краска, пользуешься коллажем, но не для красоты или оригинальничания».

Авто Варази истинный тбилисец, художник и человек пиросмановского толка, живший не для себя, для людей, для своих друзей, еще при жизни ставший легендой.

Иногда мне казалось, что он возродился и переселился

из старого Тбилиси, что, может быть, и был когда-то журналом, веселым и остроумным кинто, карачогели или старым тбилисским дворянином.

Я думаю, многие так чувствовали и, видимо, поэтому в 1969 году, когда создавался художественный фильм о Пиросмани, его режиссер Георгий Шенгелая пригласил Варази в качестве главного художника. Он был высокого мнения о нем как об экспозиционере, талантливом дизайнере, как о человеке с большим и безупречным вкусом. «Он был как камертон, — говорил Шенгелая, — должен был делать эскизы декораций и костюмов, строить их, выбирать натуру. Со всем этим справился блестяще. Заглядывая в камеру, сразу чувствовал, что надо убрать, что переделать»...

Варази было все известно о Пиросмани, о его творчестве, он прекрасно чувствовал время, в котором тот жил, хорошо знал старый Тбилиси конца XIX — начала XX веков.

В начале работы над фильмом Георгий Шенгелая долгое время безуспешно пробовал актеров на роль Пиросмани. Присутствовавшие на съемках обратили его внимание на Автандила. Своей необычной манерой поведения, комплекцией и всем обликом он действительно был похож на Пиросмани, но роль была сложная и режиссер не мог допустить мысли, что Варази при своей скромности и стеснительности сможет ее сыграть.

Когда же Шенгелая не удовлетворили пробы, он все же заговорил с Автандилом на эту тему. Вначале тот категорически отказался от этого предложения, но затем все же согласился. Почему? Ведь это так не похоже на него... Из любви к Пиросмани и доверия к режиссеру Варази согласился не сыграть, а изобразить его. Это была своеобразная дань любимому художнику, это был гражданский долг.

И он блестяще справился с этой ролью, потому что собственно играть ему и не пришлось, ибо сам был таков: он был самим собой — это его походка, его взгляд, и он сам зачастую отдавал свои работы просто так, посидев за стаканом вина, поговорив о смысле жизни, не жалея ни о чем.

Так, случайно, волею судьбы Варази представилась возможность воплотить образ великого художника, неся в себе черты его характера, его концепцию жизни. С самого же начала съемок выявился его необычайный артистизм, он оказался очень работоспособным и терпеливым, мог работать с утра до поздней ночи, ни на что не жалуясь. Вся съемочная

группа запомнила его как очень вежливого и тактичного, ве- селого и остроумного человека.

«В начале съемок нам обоим сопутствовало некоторое напряжение, — рассказывал Георгий Шенгелая, — я взял на себя большую ответственность — показать Пиросмани, а он — сыграть его».

Будучи художником фильма и исполнителем главной роли, Варази пристрастно относился ко всему, что происходило на съемках. Ведь это фильм о человеке, творчество которого он знал, почитал, любил, о художнике, которого считал своим учителем.

Как-то в разговоре он сказал: «Держать кисть меня учили многие. Многие дали мне книги, музеи, но учитель у меня один — Пиросмани. Я не о стиле или манере письма — Пиросмани неповторим. Я о том, как он смотрел на жизнь».

В результате этого сотрудничества получился замечательный фильм о художнике-самоучке Нико Пиросмани и хотя он долгое время на родине не имел апробации, на X международном кинофестивале в Америке, в Чикаго фильм «Пиросмани» был удостоен большого приза — «Золотой Хьюго», а в Англии награжден премией Британского киноинститута за самое оригинальное и красочное произведение киноискусства 1973 года.

В Лондоне после просмотра кинокартины режиссера просили рассказать о великом артисте, так блестяще сыгравшем роль художника. В Италии, в Азоле на международном кинофестивале фильм, как лучшее биографическое кинопроизведение, награжден первой премией.

Это далеко не полный перечень наград фильма.

Разумеется, такой успех очень радовал Варази, но впоследствии, когда его приглашали сниматься еще, категорически отказывался, говоря, что он не артист, а художник.

В 1970 году Е. Ахвледиани, высоко ценившая талант Автандила и относившаяся к нему с большой симпатией, предложила устроить выставку его произведений в своей мастерской.

Надо сказать, что Елена Дмитриевна вообще давала возможность выставляться у себя наиболее одаренным художникам. Эти выставки были настоящими праздниками искусства как для художников, их знакомых, друзей, так и для самой Елены Дмитриевны или «Элички», как ее ласково называли.

Необыкновенная, неумная, даже несколько воинственная энергия, большой авторитет, слава и прямо-таки всена-

родная любовь к ней, своеобразный юмор делали ее очень популярным человеком. Она обладала острым взглядом, собственным мнением на все, была со всеми откровенна и бескомпромиссна. Помогала всем, кто нуждался в ее помощи.

Организацию выставки Елена Дмитриевна брала на себя. После некоторых раздумий Варази отказался. Дело в том, что после этого предложения друзья начали собирать его работы на квартире художника. Он встречался с работами, как со старыми друзьями, на некоторые смотрел другими глазами, и когда почувствовал, что все это, собранное вместе, нужно будет выставить на всеобщее обозрение, испугался, как много лет назад: его не поймут, вокруг его работ снова начнутся разговоры и толки. И в этом решении проявились его скромность и гордость, его любовь, боль и слезы.

Как-то его друг Шота Дедабришвили, сын Шио Арагвиспирели, написал стихотворение и посвятил его Автандилу. В нем столько чувства и сострадания, что хочется привести эти строки здесь:

Я шел в далекий путь, но море слез
Мою дорогу преградило;
Невольно я присел и слезы разбирать стал,
И каждую из них я вспомнил и узнал.
Теперь глаза мои сухи и путь мой бесконечен,
Куда иду, я сам не знаю.
Одно желаю, чтоб хоть одна слеза
Росою упоения в пыли дорог моих упала.

К счастью, в дни сомнений, тревог и переживаний с ним всегда были друзья, и среди них молодой архитектор и начинающий талантливый режиссер Руслан Гонгадзе. Во время сбора картин, который проходил с большим трудом, он сказал: «Давай заснимем все твои работы». Варази согласился. Дни съемок совпали с днем рождения его сына. Благодаря этому режиссер заснял своего друга и за столом, в кругу родных и друзей.

Зная характер Авто, который ни за что не согласился бы позировать, Гонгадзе пускался на всякие ухищрения, устанавливал камеру в совершенно неожиданных местах и таким образом ему удалось заснять Варази, идущего среди тбилисцев по улицам города... Весь фильм идет в сопровождении любимого Авто старинного вальса под названием «Последний вальс», записанного на грамофонной пластинке.

Так родился замечательный документальный фильм, ко-

торый сохранил для нас обаятельный образ Автандила Варази, его улыбку, открытую, по-детски доверчивую, и речь неторопливую и спокойную. «Искусство — это такая же потребность для человека, как еда и питье, потребность в красоте и творчестве. Я вспоминаю эти слова Достоевского, когда думаю о сути искусства».

Этими словами начинается фильм. В них кредо художника и смысл его жизни. Кто знает, если бы Варази получил академическое образование, быть может, его творчество пошло бы по другому пути, но он никогда не жалел об этом. Ведь его идеалом был Нико Пиросмани — художник, не имевший специального образования.

А в документальной ленте он прямо говорит: «Каждый раз я удивлялся, как можно обучить рисованию или что значит художник-самоучка?».

У Варази было много друзей, он обладал притягательной силой. Среди них — режиссеры, художники, искусствоведы, писатели, поэты. Это — Гурам Рчеулишвили, Георгий Шенгелая, Альберт Дилбарян, Лев Баяхчев, Руслан Гонгадзе, Амирам Гоголашвили, Мери Карбелашвили, Вахтанг Руруа и многие другие.

Варази умел находить общий язык со всеми. Он контактировал с разными людьми из разных слоев общества. Умел разговаривать с каждым на его языке, не поднимая себя над собеседником, и в этом сказывалась его высокая внутренняя культура. Среди его друзей были и простые ремесленники, которые мало что понимали в искусстве, никогда не говорили громких, пышных фраз, были искренними и честными людьми.

Внешне мягкий, спокойный и сдержанный, даже несколько флегматичный, Автандил был внутренне очень эмоциональным и темпераментным.

При самой серьезной mine мог кого угодно озадачить своими неожиданными поступками, ответами, действиями. Вдруг становился резким, говорил человеку горькую правду в глаза, но на следующий день переживал и жалел о сказанном. И часто признавался, что он скорпион, который, бывая в раздражении, кусает других и себя.

Надо сказать и о том, что Варази вел беспорядочный ботемный образ жизни. В любое время дня и ночи, в любую погоду, по одному или группами приходили жаждущие общаться с художником, знакомые и незнакомые. Бесконечные застолья затем перешли в обыденное времяпрепровождение, и хотя Автандил говорил, — «Найди свое окружение и не

возмущайся глупости недоразвитых», — не всегда следовал этому принципу...

Помимо настоящих друзей, было много ненужных знакомств, людей с претензиями на образованность, вопиюще самодовольных и неинтересных. Подобные посетители раздражали его, о чем можно судить по его записям: «Страшно оставаться одному среди своих современников, не общаясь с ушедшими мастерами».

Такая жизнь не могла не отразиться на здоровье. Начались недомогания, которые со временем стали привычными, но не для больного, а для окружающих. О плохом не хочется думать.

Все чаще приходилось обращаться к врачам. Понимая, что дальше так продолжаться не может, Автандил не раз ложился в больницу. И здесь лечащие врачи, наблюдая за художником, беседуя с ним, убеждались, что это не обыкновенный больной, а страшно одинокий человек, запутавшийся в своей жизни.

«Душевные переживания обогащают человека и часто доводят до духовного прозрения, физические — поработают и часто приводят к опустошенности и озлобленности».

В последние годы жизни Варази вновь обратился к творчеству своих любимых старых мастеров: Рембрандта, Эль Греко, Лукаса Кранаха, но уже не слепо копируя, как в детстве, а преломляя через свое «я», делая зарисовки, наброски. Создавал новые работы по мотивам великих мастеров, которые позднее были названы то репликой, то мотивами, то композицией, или же просто «По Рембрандту», «С работы Лукаса Кранаха», «По Пикассо».

Он опять рисовал портреты, натюрморты. Любил повторять слова, сказанные Пикассо: «Конец рисунка — гвоздь, на котором он будет висеть временно или вечно, но художник не должен забывать, что на этом гвозде висит часть его жизни».

В марте 1977 года Варази не стало.

Был необыкновенно солнечный весенний день. Казалось, на похороны пришли все художники города, все поэты, писатели, артисты, все мастеровые. Вся улица была заполнена народом. Шли, опустив головы, с опухшими от слез лицами мужчины — Георгий Шенгелая, Лев Баяхчев, навзрыд плакал Альберт Дилбарян. Здесь же Дмитрий Эристави, Эдмон Каландадзе, Гурам Бучукури и многие другие. Последний луч

солнца скользнул по лицу художника, и вот уже близкие друзья кидают на крышку гроба горсть земли, последнее «прости»...

Эти строчки возникли при просмотре пленок со съемками похорон, и как странно и дико было смотреть эти кадры.

Как-то один художник сказал: «Варази — это второе пришествие Пиросмани». Их судьбы во многом схожи. Им обоим, чистым душой, талантливым и незащищенным от житейских бурь, от невзгод и соблазнов, тбилисцы не сумели воздать должное при жизни, не смогли помочь, уберечь и потеряли как-то незаметно, непонятно, с той лишь разницей, что прах Варази ныне покоится под скромной серой плитой в Пантеоне в Сабуртало, а могила Пиросмани так и осталась ненайденной.

Почему так сильна память об Автандиле Варази? Наверное, потому, что кроме того, что он был талантлив, его знали еще и как необыкновенную личность.

Весельчак и балагур — говорят одни, немногословен и скромнен — утверждают другие, очень непосредствен — утверждают третьи, никогда не повышал голоса, не выносил шума — вспоминают четвертые... Он был добр и безобиден, язвителен и остроумен, и почти все сходятся на том, что был одинок среди людей.

Это судьба многих, отмеченных истинным талантом, судьба людей, живущих только своим творчеством и сторающих как бы от внешних причин, а на самом деле от внутреннего жара и силы любви к искусству. Это люди со странным и непонятным для обывателя характером, не подчиняющимся общим нормам жизни. В силу своей неуправляемости они, как блуждающие звезды, как падающие кометы, которые оставляют глубокий и яркий след в небе, навсегда остаются в душах людей, соприкоснувшихся с ними.

При одном только упоминании имени Авто друзья его подтягиваются, улыбаются, и в этой улыбке — свои воспоминания и щемящее чувство потери. В их позах, мимике и даже междометиях отражается сам Авто и то, что они не могли выразить словами. В их рассказах о днях и годах, проведенных с ним вместе, порой похожих на легенды, вырисовывается образ Автандила — такой яркий и противоречивый.

Варази считал, что человек должен себя посвятить одному делу и быть верным ему до конца. Он ушел из жизни, не поступившись своими принципами — не рисовал только ради денег, не брал официальных заказов, хотя всегда нуждался, не

рисовал незнакомых людей, а только тех, кого любил или к кому относился с симпатией.

Он был цельным, бескомпромиссным, всегда честным всю жизнь верным себе.

ХРОНИКА

БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ С ПИТЕРОМ БРУКОМ

В конце мая Тбилиси посетил легендарный английский режиссер Питер Брук, блистательный постановщик Шекспира и Чехова, автор книги «Пустое пространство», успешно помогающей молодым профессионалам постигать тайны театрального искусства, человек, начавший свою деятельность в 17 лет. На одной из встреч — с грузинским театральным студенчеством — нашему корреспонденту Анне ФАЛИЛЕЕВОЙ удалось задать ему несколько вопросов.

— Господин Брук, Ваш друг Григорий Козинцев писал: «Режиссер, ставящий Шекспира, обязательно берет его с приданым. Питер Брук брал его с Самуэлем Беккетом, я возьму с Достоевским». Как Вы думаете, с каким «приданным» берет его грузинский театр?

— В принципе единственно правильный способ постановки Шекспира — это попытка сыграть именно Шекспира. И режиссеры, и актеры стремятся чаще всего к этому. Но ведь они дети своего времени. Они находятся под непосредственным влиянием всего, что вокруг них происходит. Следовательно, каждая работа по Шекспиру — это и то, что есть у него, и то, что есть сегодня. И если Козинцев говорит, что у меня Шекспир разбавлен Беккетом или вообще

абсурдом, это так. И, наверное, это неплохо. Возьмем, к примеру, «Дон-Жуана» М. Туманишвили. Отмечу попутно, что его театр мне очень близок. Так вот уважение к Мольеру, верное его понимание заставило режиссера искать живое в Мольере через национальный колорит. Этим хороши и постановки Р. Стуруа.

— Советский критик Ю. Юзовский в статье о Вашем «Гамлете», показанном в Москве в 1956 году, писал: «если у нас, в советском театре, даже Чехова пытаются трактовать по-шекспировски, то на Западе даже к Шекспиру стараются подойти по-чеховски». Вы согласны с этим предположением?

— Интересный вопрос. Дело в том, что я видел много плохих постановок Чехова, в которых Чехов преподнесен в одном стиле. Вот в Англии на протяжении многих лет думали, что Чехов — очень английский писатель. А что такое английский стиль? Это медленный темп, томно вздыхающие герои. Я думаю, что какая-то болезнь — так играть Чехова. По-моему, пьесы Чехова полны жизни, темпа, юмора, таланта. В своей постановке «Вишневого сада» я попытался выразить любовь к жизни.

— Так хочется верить, что тбилисцы увидят Ваши спектакли не в пересказе, а наяву...

— О, я сделаю для этого все возможное!

«Певец Колхиды»

Есть прекрасные деревья, которые до самых морозов сохраняют листву и после морозов до снежных метелей стоят зелены. Они чудесны. Так и люди есть — перенесли все на свете, а сами становятся до самой смерти все лучше. Есть такие люди...

МИХАИЛ ПРИШВИН

Объехав почти весь земной шар, ботаник и путешественник Андрей Николаевич Краснов пришел к выводу, что Черноморское побережье Кавказа — это влажные субтропики, которые могут воспринять субтропические растения из других областей мира. Созданный им в 1912 году Батумский ботанический сад сыграл огромную роль в преобразовании некогда малярийного края, «теплой Сибири», как называли Кавказ ссыльные декабристы.

«Есть грезы, которые навек обречены оставаться грезами, и есть грезы осуществимые, — писал он. — Если вы, не имея выигрышного билета, мечтаете выиграть 200 000 рублей, то, конечно, мечта ваша мечтою и останется. Если вы мечтаете превратить пустыню в цветущий оазис, или жалкую деревушку в большой город, и если у вас есть основания предполагать, что такое превращение возможно — мечта ваша может когда-нибудь осуществиться...»

Андрей Николаевич горячо верил в свою мечту.

Родился будущий ученый-романтик 27 октября 1862 года в Петербурге. Там прошли его детские годы и юность.

Он увлекался романами Жюль Верна, книгами известных путешественников. Вероятно, под их влиянием уже в детстве появилась у мальчика мечта побывать в тропиках — необычно-

венном, сказочном мире — и страсть к путешествиям сохранилась на всю жизнь.

Ближайшим другом его с гимназических лет стал Владимир Вернадский (впоследствии знаменитый академик). Они вместе совершали дальние прогулки, собирали насекомых, следили за их жизнью. Андрей относился к этим занятиям столь серьезно, что еще юношей написал в значительной мере на основе собственных наблюдений небольшую книжку «Очерк жизни сорока обыкновеннейших насекомых», вышедшую в 1881 году.

С осени 1880 года Андрей Краснов — студент естественного отделения физико-математического факультета Петербургского университета, где в то время преподавали крупные ученые: А. Н. Бекетов и А. С. Фаминцын — ботанику, Д. И. Менделеев — химию, В. В. Докучаев — почвоведение, А. И. Воейков — метеорологию, И. М. Сеченов — физиологию животных, А. А. Иностранцев — геологию, А. В. Советов — агрономию. Пытливый, живой, увлекающийся юноша сразу же привлек к себе внимание профессоров. Он становится любимым учеником патриарха русской ботаники А. Н. Бекетова, его отмечает как талантливую студента строгий и требовательный В. В. Докучаев, с ним ведет научные споры видный геолог А. А. Иностранцев.

В студенческие годы Краснов участвует в экспедиции на горный Алтай, обследует Бийский округ, Катунские балки — самый высокий хребет в Центральном Алтае, и Бахтурминскую долину. Возвращается в Петербург с ценными сборами, но пустым карманом. С извозчиком расплачиваются родители молодого исследователя. В 1883 году под руководством В. В. Докучаева изучает в геоботаническом отношении Нижегородскую губернию и пишет большую работу «О зависимости между почвой и растительностью в черноземной полосе Европейской России», удостоенную золотой медали на университетском конкурсе.

Краснов полон оригинальных идей, которые отстаивает с жаром, свойственным молодости. Он — инициатор ряда студенческих начинаний, в том числе содружества молодежи, вошедшего в историю науки под названием «Кружка маленьких ботаников», многие члены которого в дальнейшем стали крупными учеными. Интересные доклады делает Андрей и в студенческом научно-литературном обществе.

И вот университет окончен. Краснова оставляют для подготовки к профессорскому званию. В это время появляется у

него еще один учитель — выдающийся геолог И. В. Мушкетов. С ним летом 1885 года Андрей Николаевич отправляется в экспедицию в Калмыцкие степи. Эта экспедиция оставила много впечатлений, которыми по приезде он делится с друзьями. Более того, его путевые очерки печатают в популярном среди петербуржцев издании — «Книжках недели».

Географическое общество, которому Краснов докладывает о своих исследованиях, награждает его серебряной медалью и избирает действительным членом, а позднее — и это было самым важным для молодого ученого — отправляет в экспедицию на ледники Хан-Тенгри в Восточном Тянь-Шане.

Снежные вершины, манящие своей таинственностью ущелья и стремнины, глубокие озера, неизведанные пути — все это предстояло увидеть, изучить, описать. О более увлекательной и романтической экспедиции и мечтать нельзя было.

Путешествие оказалось невероятно трудным. Семь месяцев — то верхом, то пешком — по хребтам и долинам Тянь-Шаня. Особенно тяжелы были подъемы на ледники Хан-Тенгри — этого, по выражению Краснова, «белого конуса в 24 000 футов высотой (6 995 м. — Н. З.), царящего над всеми хребтами между Азиатской частью России и Кашгарией».

Путь назад шел через Среднюю Азию: Самарканд, Мерв, Чарджоу.

Не обошлось и без приключений. Около озера Балхаш на безоружного Краснова напали разбойники, и только находчивость проводников помогла ему спастись.

Доклады молодого ученого Географическому обществу осенью 1886 года «О природе Балхашской низменности» и «О природе и жизни на ледниках Хан-Тенгри в Тянь-Шане» получили высокую оценку. Ему торжественно вручили золотую медаль Русского географического общества.

Зимой 1887 года, сдав магистерский экзамен, Краснов отправляется в заграничную командировку для подготовки к профессуре: Швейцария, Италия, Франция, Германия, Австрия, Испания; работа у видных европейских профессоров — Кона, Гейма, Штротера, Энглера, Рихтгофена, Кирхгофа, Ревенье, Рено; выступления с докладами о своих путешествиях в Берлине, Бреславле, Париже. Его избирают действительным членом Берлинского географического общества. Он участвует в Международном конгрессе археологов в Лондоне, путешествует по Южной Англии, работает над диссертацией.

Но главное, Андрей Николаевич много читает по истории географии и ее отдаленным разделам, напряженно размышляет

о том, каким должен быть университетский курс этой науки, так как в Европе не нашел образца, который бы его удовлетворил. Своими мыслями по этому поводу А. Н. Краснов делится в письмах с В. И. Вернадским. По его мнению, география должна обобщать основные выводы многих частных наук, философски осмысливать их, проливая свет на развитие неорганической и органической природы.

Вернувшись в Петербург, молодой ученый блестяще защитил магистерскую диссертацию «Опыт истории развития флоры южной части Восточного Тянь-Шаня». Возник вопрос о дальнейшей работе, об университетской кафедре.

В хлопоты включился профессор А. Н. Бекетов. Далеко не щедрый на похвалы В. В. Докучаев дал Андрею Николаевичу превосходную характеристику: «Лично я смотрю на геоботанические труды Краснова так: по глубине, широте и цельности постановки геоботанических вопросов, по эрудиции и удивительно обширному и притом личному знакомству с отдаленнейшими странами Азии и Европы, по талантливости изложения, по бесконечной любви к трактуемому предмету у Краснова нет соперников в России. Если прибавить к сказанному прекрасный ораторский талант Краснова, его необычную живость и вечное, можно сказать, ненасытное стремление работать и знать, самому все видеть и использовать... то можно положительно констатировать, что молодой Краснов (ему всего 26 лет) будет украшением любой кафедры геоботаники в России...» (ЦГИА СССР, 1889, ф. 733, оп. 150, д. 467, лл. 31—36).

В 1889 году А. Н. Краснов получил кафедру географии в Харьковском университете. Ему было тогда неполных 27.

В то время в России университетский курс географии читался только в Москве и Петербурге. По своему содержанию он мало отвечал представлениям Краснова. Молодой ученый создает в Харькове новую кафедру, совершенно новый курс географии, новую систему преподавания.

Богатая эрудиция и блестящий ораторский талант, полная свобода от традиционных точек зрения привлекали на лекции Краснова многочисленных слушателей.

В летние месяцы он совершает со студентами экскурсии на Кавказ. Ему кажется необходимым сделать этот край учебным пособием, как Альпы для швейцарского или Судеты для немецкого профессора.

В 1890 году Краснов едет в Америку на Международный

геологический конгресс и выступает там с замечательным докладом о степных почвах юга России, который публикуют в американском журнале «Наука». Геологическое общество в Вашингтоне избирает его своим членом. Он совершает интересную поездку по Америке — Чикаго, Соленое озеро, знаменитый Йеллоустонский парк, Ниагарский водопад, мексиканские степи. Ярко, красочно описывает то, что увидел и пережил в Америке.

Вернувшись домой, Андрей Николаевич загорается желанием преобразовать большой, но запущенный сад Харьковского университета в ботанический сад, однако иного типа, чем в Берлине, Вене, Цюрихе, Милане, Флоренции, Неаполе, Пизе, где растения расположены отдельными семействами.

В статье «Современные задачи русских ботанических садов» в 1889 году ученый писал, что сад должен быть той лабораторией, в которой ставятся на опытных грядках каждому отдельному виду туземных и иноземных растений вопросы, чего они требуют и чего им недостает, чтобы расти на нашей почве, в нашем климате.

В 1890 году в статье «Харьковский университетский сад и его новые задачи» А. Н. Краснов снова отстаивает свою идею ландшафтного ботанического сада.

Однако создать здесь настоящий ботанический сад Краснову не удастся: нет ни средств, ни живого интереса со стороны университетского руководства и сотоварищей.

И сейчас стоят в Харьковском университетском саду деревья, посаженные ученым, как молчаливые памятники его деятельности...

В 1817 году голландское правительство создало в Бютензорге акклиматизированный ботанический сад — лучший на земном шаре по научной организации и богатству коллекций. В его лабораториях и библиотеке, которым мог позавидовать любой из западноевропейских университетов, А. Н. Краснов изучает растения тропиков во всем их разнообразии. Он пишет домой, что ботанический сад Бютензорга с его научными учреждениями есть рай для ученого ботаника и для любителя-садовода. Однако, съездив в горы и ближе ознакомившись с ботаническим садом, находит в нем изъян: бесчисленные сорта тропических деревьев расположены по семействам, и поэтому их группировка не удовлетворяет требованиям эстетики. Мысли о том, как надо устраивать сад, не оставляют ученого во время всего путешествия по востоку Азии и особенно Япо-

нии, где почти во всех округах есть сады, славящиеся обилием и красотой форм излюбленных японцами растений.

Андрей Николаевич посещает сквер в Фузани, разбитый с необыкновенным изяществом, удовлетворившем даже его изощренный вкус художника. В Японии он особенно много уделяет внимания садоводству.

«...есть у нас... уголок, где возможны сказочные метаморфозы. Уголок этот — наше Черноморское побережье... Не пройдет и 25 лет, как край этот превзойдет Ривьеру, и под рощами вечнозеленых дубов будут поднимать кроны веера не скромных хамеропсов, но настоящих веерных пальм...» — писал А. Н. Краснов.

В 1892 году Краснов приезжает в Батуми. Он знал, что Черноморское побережье Кавказа — край полудикий, неосвоенный, край непролазных дебрей и лихорадок. Андрей Николаевич ярко описывает его под свежим впечатлением. Прилегая на весьма значительном расстоянии к самому берегу Черного моря, Батумский округ представляет собой сильно пересеченную горную местность, в низменных местах покрытую болотами и одетую сверху до подножия гор роскошной растительностью, среди которой преобладают вечнозеленые растения. Эта местность обладает чарующим видом, южным климатом, ничем не уступающим по мягкости, как он считает, лучшим курортам Европы, и в то же время вследствие болот и зарослей она отравлена малярией, которая ежегодно уносит немало число жертв. Под постоянной угрозой этого заболевания находится и сам ученый во время поездки по Батумскому краю.

Судьба Колхиды не оставляет Краснова безучастным. Он шлет доклад министру государственных имуществ с проектом необходимых преобразований. Основная идея проекта — всемерно освоить земли этого малонаселенного, непроизводительного края, внедрить ценные культуры, развить сельское хозяйство, осушить болота, оздоровить местность.

В бассейне реки Чакви Андрей Николаевич изучает леса из бука и каштана, густые вечнозеленые подлески из самшита, падуба и рододендрона. Кожистая, твердая, как у камелии, листва их напоминает ему растения далекого Востока — от Южной Японии до Явы. Леса Колхиды он сравнивает с лесами южных субтропиков. По словам самого Краснова, стоило только ступить на батумскую землю, попасть под тень ее лесов, чтобы понять, что находишься в мире иной, отличной от остальной растительности страны. Ученый уверен, что побере-

жье Кавказа — это тип влажного субтропического края, сходного с областями Тихоокеанского побережья Старого Света. «Только слабые намеки в характере дикой растительности», — отмечал он позднее, — приводили меня тогда к заключению, что дикий Батумский край может быть восприимчивым для богатой японской флоры». И в самом деле, растения, вывезенные любителями-садоводами из Китая и Японии, здесь прекрасно принялись.

Мечта превратить Колхиду в цветущий край всецело овладевает А. Н. Красновым. Ознакомившись с историей многочисленных попыток акклиматизировать различные субтропические культуры в Сочи, Сухуми, Батуми, он убедился, что причина неудач крылась в том, что материал выписывался из Ниццы и Неаполя — зоны сухих тропиков, а надо было использовать здесь не ассортимент экзотических растений, «процеженный» через влияние западноевропейского климата, не «отбросы» субтропической флоры Западной Европы, а растения из Японии, Гималаев, Чили, Новой Зеландии — то лучшее, что есть в этих странах, поразительно сходных по условиям климата и почве с Колхидой. Источником богатства Батумского края, по его мнению, могли стать бананы, лакочное и восковое деревья, чай, мандарины, бамбук, рами. Особенно интересовала Краснова культура чая, а также прекрасные сорта суходольного риса. Он считал, что легко ввести в культуру хурму — лучший и вкуснейший из плодов Японии, облагородить путем его прививки разбросанные здесь экземпляры местной хурмы и таким образом превратить Колхиду в сплошной сад, который мог бы снабдить новым фруктом не только весь Кавказ, но и города России.

Склонный увлекаться широкими планами, Краснов обладал исключительной способностью заражать ими других. Он убеждает начальника главного управления удельными имениями князя Вяземского отправить на Дальний Восток экспедицию, чтобы изучить на месте субтропические культуры, ибо считает, что не только чай, но и вся японская флора найдет себе второе отечество в этом благодатном крае, и не только «китайская травка», но и многие другие, еще не ведомые в нашем земледелии культуры поднимут благосостояние его жителей...

Профессорская деятельность в Харьковском университете, заведование кафедрой географии отнимали много времени и сил. В 1895 году Андрей Николаевич с блеском защитил докторскую диссертацию — итог его исследований степей Се-

верного полушария — и стал готовить к печати курс земледения для университетов. Он побывал к тому времени в северных и южных странах Западной Европы, в Турции и Египте, США и Мексике, на Дальнем Востоке и тропических островах, исколесил Закавказье и собрал огромный материал, который хотел привести в стройную систему, одухотворить общей идеей. Но эта работа была прервана новым путешествием, на этот раз кругосветным. Оно тоже было связано с его мечтой преобразовать Колхиду.

В 1895 году царское правительство снаряжает экспедицию по маршруту: Одесса—Каир—Бомбей—Дели — чайный округ Катри в Западных Гималаях — Калькутта—Коломбо—Шанхай—Ханькоу—Япония—Сандвичевы (Гавайские) острова — Сан-Франциско — город Закатекас в Мексике — Нью-Орлеан — Неаполь — Берлин.

Путешествие длилось около года. Основной целью его было изучить культуру чая в странах Азии. Однако ученый использовал его гораздо шире.

С большой художественной силой описал он субтропические леса, горы и чайные плантации, сельскую природу и японские города — Иокагама и Токио. Очерки его в «Книжках недели» знакомят петербуржцев с Китаем, Японией, Мексикой, Сандвичевыми островами.

Позднее, в 1898 году, эти очерки издают отдельным томом, 658 страниц которого читаются с неослабным интересом и сейчас.

В одном из имений удельного ведомства — Чакви, недалеко от Батуми, были высажены привезенные экспедицией «12 даров Востока», как назвал их ученый: чай, мандарины, хурма, строевой бамбук, тунг, лаковое, восковое и бумажное деревья, рами, ямс, таро леспедеца. Вместе с ними на пароходе были перевезены и другие, менее перспективные, плодовые и декоративные растения.

В долине реки Чакви подготовили почву для будущих плантаций. Многие из растений нормально росли и развивались. Приезжая в Чакви, Краснов любовался рощами сосны итальянской и акации, веллингтониями и гранатовыми деревьями. Первые успехи подогревали творческую фантазию, рождали новые планы. Андрей Николаевич считал, что все это составляет канву для огромного парка или гигантского ботанического сада южных растений.

В апреле 1896 года в докладе на общем собрании Русского географического общества Краснов сообщает о результатах

116-111033

экспедиции 1895 года в тропики. На основе развернутой характеристики климата, почв, растительности влажных субтропиков дает их определение, которое было ново и представляло для географов большой интерес.

К влажным субтропикам А. Н. Краснов относил Закавказье (среднюю и южную части Черноморского побережья Кавказа и Колхидскую низменность).

После кругосветного путешествия А. Н. Краснов деятельно включается в общественную жизнь — председательствует в музейной комиссии, организует географический раздел в географическом музее, читает лекции в Харьковском обществе грамотности, проводимые с благотворительными целями.

В жизнь врываются и сугубо личные дела: в мае 1898 года Андрей Николаевич женится на Анастасии Николаевне Рудаковой.

В следующем году Краснов снова едет в Европу, в Берлин, где выступает с докладами на международном географическом конгрессе. Тема одного из них: «Место Колхиды во влажных субтропических областях земного шара».

В августе 1909 года он снова в Батуми. Пишет, что ни на Яве; ни на Сандвичевых островах, где эвкалипты чувствуют себя как дома, он не видел более пышных их экземпляров, что в то время как в Италии процветает один только его вид, в Батуми можно разводить не менее тридцати.

Особенно поражает его район Чакви, где были высажены «дары Востока», привезенные четырнадцать лет назад. На месте непроходимых дебрей первобытного леса высились вечнозеленые дубы крайнего юга Японии, итальянские сосны, камфорный лавр, огромные магнолии из Северной Америки, веллингтонии из Калифорнии, азалии и олеандры. Его мечты начинают сбываться. Теперь у него одна цель — создать в окрестностях Батуми ботанический сад. В статье «Возможная будущность природы Батумского края» он негодует на безразличие и равнодушие правительства к судьбе Батумской области, которая обладает единственным в своем роде климатом, каким не обладает ни одно государство в Европе.

Понимая, что без денег призыв его останется гласом вопиющего в пустыне, пытается связать создание ботанического сада в Батуми со стремлением батумцев превратить окрестности города в курорт. Он рисует им заманчивую картину будущего. В Батуми растительность развивается исключительно быстро, здесь за 5—8 лет могут быть выращены леса из крип-

томерий, бамбуков и эвкалиптов, нужно создать парк, а в нем этнографический музей.

В каждом уголке парка, отражающем ландшафт той или иной страны, следовало, по мысли Краснова, расположить типичные для них строения и некоторые общественные заведения.

План А. Н. Краснова поддерживают местные авторитетные лица. Необходимо было получить хотя бы сто десятин для сада, построить гостиницу на берегу моря для многочисленных туристов. Но, разумеется, основной задачей ученого остается создание научного ботанического сада. Параллельно с акклиматизацией тропических растений он хочет заняться их селекцией на опытной станции, полагая, что Батуми — лучшее для этого место.

Андрей Николаевич настойчиво пропагандирует свою идею в печати, беседах, докладах. Он едет в Петербург и в министерстве земледелия и землеустройства ставит вопрос об организации в Колхиде фантастического на первый взгляд ботанического сада, который дал бы возможность изучать и выращивать растения из разных субтропических стран. Как и много лет назад, ученый снова и снова доказывает, что Колхида — влажные субтропики, где можно культивировать для научного исследования и массового выращивания ценнейшие декоративные, плодовые, овощные культуры этого пояса Земли.

В проекте будущего сада он опять подчеркивает, что ботанический сад — это не только коллекция растений, интересных для ученых, это — источник распространения и место испытания громадного числа растений, которые могут быть полезными для народного хозяйства страны. Проект сочувственно встречает один из крупнейших ботаников — И. П. Бородин. Его поддерживает очень авторитетное в то время Петербургское общество садоводства. Краснов увлекает своими планами кое-кого из руководителей департамента земледелия. Наконец добивается принципиального согласия на организацию ботанического сада.

«В те немногие свободные часы, которые отец проводил с нами, — вспоминает его дочь, — он говорил только об этом, ездил хлопотать в Петербург. Для того, чтобы было легче работать в будущем в Батуми, он... учил грузинский язык — и это почти в 50 лет, при его занятости! (Вообще он владел семью языками)».

Одним из мест, наиболее подходящих для организации сада, он считает Зеленый мыс, в семи километрах от Батуми, над морем, с исключительно разнообразным рельефом, ущелья-

ми, склонами разной крутизны, обращенными во все стороны света.

В 1911 году Краснова избирают редактором прогрессивной харьковской газеты «Южный край», посредством которой он широко пропагандирует свои идеи. Как ее представитель, Андрей Николаевич участвует в работе второго Всероссийского писательского съезда в Петербурге. По настоянию друзей, консультируется с врачами. Они не скрывают своих опасений и прямо говорят, что ему нельзя так много работать, более того, выдают письменное медицинское заключение о том, что состояние его здоровья несовместимо с выполнением служебных обязанностей. Но ученый не думает сдаваться, ибо хочет осуществить то, что считает в своей жизни главным — создать ботанический сад в Батуми.

Заблаговременно завязал он переписку с крупнейшими садовыми и цветочными фирмами США, Японии, Китая, Австралии, с любителями-цветоводами из разных стран и городов, чтобы получить нужный посадочный материал. Узнав, что один из пароходов добровольческого флота отправляется в Новую Зеландию, решает использовать этот рейс, чтобы доставить растения из новозеландских портов, и даже готов при необходимости сам поехать за ними.

В апреле 1911 года в докладе Совету Батумского общества сельского хозяйства ученый подробно излагает задачи, которые ставит перед собой: собрать в каждом географическом отделе главнейшие культуры и применить к ним принятые в этих областях приемы ухода. В отделе Дальнего Востока иметь хороший цитрарий, коллекцию бамбуков и плодовых, в новозеландском — дать образцовое поле новозеландского льна, в американском — культуры пеканов, сладкого картофеля, табака и американских корнеплодов, в тропическом отделе ставить опыты над хиной, кофе, тропическими фруктами и т. д.

Совет общества одобряет основные положения доклада и ходатайствует о том, чтобы ученый был поставлен во главе дела.

Для организации ботанического сада теперь необходимо было присутствие Краснова, и 21 мая 1912 года он оставляет пост профессора Харьковского университета и редактора газеты «Южный край». В возрасте 50 лет порывает с созданной им кафедрой географии, с преподавательской деятельностью, которой отдал лучшие годы, с курсами для рабочих Харькова, созданными при его деятельном участии, где не только читал лекции, но и возглавлял как председатель Совета кур-

сов весь учебный процесс. Процается с друзьями и близкими и, несмотря на подорванное здоровье, переезжает в малярийный край с совершенно иными климатом и условиями жизни.

В октябре 1912 года последовало «Высочайшее его императорского величества соизволение» на отчуждение из удельного имения под сад участка земли в 65 десятин. Но при этом ставился непременным условием обмен этого участка «на подходящий равноценный участок казенной земли» и оценивался он в 100 000 рублей.

Итак, земля под сад получена. Краснов назначается его директором. Сам разрабатывает теперь уже применительно к выделенному участку «Проект ботанического сада и опытной станции».

Третьего ноября 1912 года произошло торжественное открытие ботанического сада. А. Н. Краснов произнес яркую речь, восторженно принятую присутствующими. Его давнишняя мечта наконец сбывалась.

Сразу же началась работа по закладке сада. Нередко трудились не только днем, но и ночью при свете прожекторов. По свидетельству В. И. Талиева, Андрей Николаевич, как будто зачарованный своей идеей, с исключительной для его возраста и здоровья энергией и настойчивостью отдался ее воплощению. Изучая климат Батумского края, ученый приходит к выводу, что он соответствует тому, который существовал на Земле в прошедшие геологические времена, и потому решает создать здесь как бы «сад живых ископаемых».

Андрей Николаевич пишет, что влажный субтропический климат Батуми есть климат давно минувших геологических эпох, что именно он господствовал на большей части поверхности нашей планеты в начале третичного периода. Большинство тропических растений вымерло, затем другие изменились в современные формы тропического, умеренного и холодного поясов. Немногие уцелевшие формы древней тропической флоры в субтропических странах вокруг Тихого океана далеко разбросаны друг от друга.

Реликты — живые представители древнейших эпох — случайно сохранились во влажных субтропиках, Азии, «Новой Зеландии, в Южной и даже Северной Америке, но главным образом в Австралии. Краснов изучил почвенно-климатические условия, в которых они там росли. Собрав в ботаническом саду реликты всех континентов, он хотел создать для них новую родину, чтобы показать на примере этих растений, давно вы-

мерших в большинстве стран форм, эволюцию растительности на Земле. Ученый уверен, что ботанический сад Батуми заставит их, как в старину, расти друг возле друга и даст возможность посетителю ходить в той обстановке, в какой из первичных млекопитающих формировались ныне живущие породы животных и людей.

В ботаническом саду можно увидеть могучие деревья камфорного лавра, интересного не только своими лечебными свойствами, но и тем, что в третичных отложениях Южной Европы отпечатки его листьев находят рядом с останками человекообразных обезьян. Тут можно любоваться лотосом, реликтом дочетичного периода из Индии, крупноцветной магнолией, находимой в третичных пластах Сибири и Урала, со священным деревом гинкго, саговниками. К. Серебряков писал: «...Андрей Николаевич создал на Батумском побережье новую, единственную страну, единственную в мире ботанико-географическую область, где древние третичные растения, собранные со всех материков, находят свою вторую родину — страну чудес, созданную по гениальному плану. Он — ее инициатор и осуществитель».

Одним из помощников Андрея Николаевича стал Я. Д. Гордезиани. После окончания Тбилисского сельскохозяйственного училища он почти 15 лет работал в разных садоводческих организациях. Затем окончил Версальский сельскохозяйственный институт во Франции, поступил к известному селекционеру Вильморену в Париже. Знакомился также с выращиванием субтропических растений, пальм, луковичных и других культур в Бельгии, Швейцарии и Англии. В 1913 году Батумская городская управа пригласила Гордезиани в Батуми для работы в городском садоводстве. Краснов, узнав биографию этого искателя знаний, решает взять его старшим садовником Батумского ботанического сада.

«Приехал я на пароходе поздно ночью, — вспоминал через 35 лет Я. Д. Гордезиани. — Утром, не успев проснуться, говорят, что меня ждет какой-то господин. Выхожу и вижу сидящего около дома почтенного вида человека. Оказывается, это профессор А. Н. Краснов приехал убеждать меня помочь ему строить ботанический сад».

Я. Д. Гордезиани увлекли планы ученого. Андрей Николаевич ежедневно приезжает в сад, обязательно обходит, опираясь на его плечо, все отделы, следит за правильностью осадки каждого растения, останавливается, чтобы выравнять какой-то склонившийся стебелек. При раскорчевке девственного леса

собственноручно указывает деревья, кустарники, которые надо оставлять как характерные для местной флоры. Чтобы дольше оставаться в саду и не терять времени на поездку из города и возвращение, он нередко остается ночевать в наспех сколоченном сарае.

Бывший рабочий Батумского сада — Чхеидзе рассказывал, как ему с несколькими рабочими поручено было провести воду из источника, расположенного в девственной чаще леса. «Однажды корчем деревья — и вдруг перед нами начальник. Он расспросил нас, как идет работа. После мы все долго недоумевали, как мог он пробраться в эту чащу, по крутым склонам со своей больной ногой. Молодой садовник, которому поручено было организовать эту работу, ни разу не появился в этой чаще».

Вспоминают и другой случай. Как-то А. Н. Краснов ходил с посетителем по саду и показывал ему, где и что посажено. Заинтересовавшись одним из миниатюрных растений, тот вынул из кармана лупу, опустился на колени и долго рассматривал его, а поднявшись, спросил: «Доживете ли вы, пока оно вырастет?» На это профессор ответил: «Наверное, я не долго буду жить, но я представляю себе теперь, каким гигантским будет это дерево, и нахожу в этом удовлетворение».

Краснов ежедневно давал указания старшему садовнику, какие высадить растения, затем наблюдал за их развитием. Случалось, он находил данную композицию недостаточно удачной, и тогда растения пересаживались на другое место. Если у Андрея Николаевича оказывались лишние экземпляры, раздавал их бесплатно тем, кто, по его мнению, постарается их вырастить.

Краснов требовал от посетителей сада бережного к нему отношения, не допускал прикосновения к посаженному дереву или цветку и грозил избить неподчинившегося. По натуре человек очень мягкий, он в присутствии Гордезиани пустил однажды в ход свою палку, на которую всегда опирался.

Работа ученого в ботаническом саду была крайне напряженной. Наряду с избранием на пост директора ботанического сада он был избран товарищем председателя Батумского ботанического общества и редактором выпускавшегося им журнала. Издание это требовало много времени, сил, энергии; надо было привлекать сотрудников, улаживать дела с типографией. При почти полном отсутствии средств приходилось быть одновременно редактором, издателем, сотрудником, переводчиком, компилятором, секретарем и корректором.

До А. Н. Краснова журнал назывался «Батумский сель-

ский хозяин», был неинтересен, в статьях не чувствовалось целеустремленности, не было идеи, объединяющей его сотрудников. Андрей Николаевич считал, что основным девизом журнала должно стать превращение Колхиды в субтропики. Первый номер под редакцией Краснова вышел в июне 1912 года. С этого времени журнал становится органом не только Батумского общества сельского хозяйства, но и ботанического сада.

«Если в Харькове он был постоянно занят, — рассказывает дочь Краснова Вера Андреевна, — то в Батуми это было постоянное горение, вдохновение, работа без конца, наслаждение работой и в то же время тревожное сознание и глубокая боль, что он может не успеть все, что задумал». Чудо энергии, целеустремленности, таланта, любви — при полном отсутствии жалости к себе. Никакие доводы врача, который прямо говорил, что он сгубит себя очень скоро, никакие просьбы родных не могли остановить его. Он уезжает рано, приезжает поздно, но всегда оживленный, с букетом цветов (рододендронов, мимозы, цикламенов и т. д.) к столу».

Всю обстановку дома Андрей Николаевич заказал из бамбука разных сортов. Чтобы показать применимость в быту местных пропагандируемых им растений, он сам широко их использовал. Как только в саду созревало впервые выращенное экзотическое растение — росток бамбука, бататы или что-либо другое, оно тотчас появлялось к обеду или ужину, и хозяин сам накладывал по тарелкам блюдо гостям и домочадцам.

В статье «Батумский ботанический сад за период его организации» Краснов дал краткий перечень того, что было сделано в двух отделах сада за один только год.

В американском отделе уже росло двадцать сортов агав, вокруг водоема для болотных и водных растений были сгруппированы важнейшие древесные и кустарниковые породы Флориды: болотные кипарисы, сосны, дубы, пальмы, коллекция саррацений. Субтропический хлопок, посеянный в мае, к октябрю был выше человеческого роста, плодоносили бархатные бобы, пышно развивались двенадцать сортов сои, американские сорта кукурузы. Закончили строительство дороги.

В японском отделе крутые склоны хребта были превращены в террасы, чтобы «дать иллюзию картины земледелия Дальнего Востока», нижние террасы приспособили для содержания проведенной к ним воды и предназначили для культуры риса и лотоса. Верхние — уже засадили суходольным рисом и восковой тыквой. Внизу высадили технические деревья — восковые, лаковые, бумажные и масличные, сальные и японскую хурму.

Выше выращивали лучшие сорта японской хурмы и сладкого картофеля-батата. Здесь можно было любоваться бутылочной тыквой, люфой, родоначальниками отечественного чая из Китая, Индии, Японии и Цейлона, двумя крупными экземплярами красивейшего из хвойных Японии — зонтичной сосны и крупными саговниками. В этом отделе были украшенные каменными фонарями и беседками японские декоративные садики с каскадами, падающими в горное озеро, вокруг которых сгруппировали главные дикие декоративные растения Японии, а между ними поместили коллекцию азалий, кленов и дубов.

Невольно встает вопрос, как удалось за такое короткое время добыть столько растений? Но, как уже было сказано, еще в 1912 году Краснов установил связи с крупнейшими садовыми и цветочными фирмами всего мира. Департамент земледелия США прислал семена и саженцы субтропических культур, королевский ботанический сад в Кью (Англия) — 300 видов интересовавших его растений, директор ботанического сада в Дарджилинге (Индия) — 70 характерных гималайских видов, ботанические сады Тбилиси и Варшавы — саженцы лотоса. Удельное ведомство, местные сельские хозяйства и зарубежные фирмы, заинтересованные в последующих заказах, дарили саду ценные экземпляры растений. Колоссальный объем работ был проведен несмотря на то, что на первоначальную организацию сада было ассигновано всего 3000 рублей. Личные знакомства Краснова с директорами садов, широко развернутая пропаганда огромного затеянного им дела, напряженная работа ученого, годами вынашивавшего мечту о тропиках, давно и глубоко продуманный план помогли создать это чудо.

Чтобы ознакомить батумцев с ценными растениями, которые можно внести в культуру, Андрей Николаевич помещает почти в каждом номере журнала «Список полезных и декоративных растений», рекомендуемых для Батумского побережья. В этих списках он приводит свойства каждого растения как декоративного, пищевого, кормового, часто советует, как их выращивать.

Только в 1913 году, например, им охарактеризовано более двухсот видов.

Краснов составил календарь цветения деревьев, кустарников и цветов в Колхиде.

Стремясь вызвать у местного населения интерес к экзотическим растениям, привезенным в Колхиду, А. Н. Краснов в особом разделе редактируемого им ежемесячного журнала рассказывает об их использовании в разных целях. Так он поместил

статью «Субтропическая кулинария» и описал в ней много диковинных блюд, которые видел и ел, путешествуя в тропиках.

Чтобы показать местному населению красоту субтропических растений, Андрей Николаевич взялся руководить посадками Батуми. При его помощи был расширен городской питомник, а улицы обсажены благородными лаврами и пальмами.

Казалось бы, дел по горло, но неиссякаемая жажда сделать больше побуждала ученого помогать везде, где он только мог. В местной мужской гимназии взял на себя преподавание географии в двух младших классах, предупредив директора Г. Генкеля, что будет вести его не по шаблону, а по методу, им самим выработанному. Суть этого метода — отводить работе мозга первое место, а работе памяти — второе. Профессор находил время, чтобы сделать доклад или прочесть лекцию на собраниях ученического физико-математического общества. Интересно, что Краснов овладел грузинским языком настолько хорошо, что даже сделал несколько стихотворных переводов из грузинской поэзии, которую любил и ценил.

Прошло более двадцати лет после того, как экспедиция удельного ведомства привезла двенадцать даров Востока. Растения хорошо принялись — и многие уже плодоносили. Но никого это не заинтересовало, Андрея Николаевича огорчало, что ни управлением уделов, ни другими учреждениями и частными лицами не делалось никаких шагов к тому, чтобы использовать те дары Востока, которые восприняли почвы Колхиды.

Из лакового дерева можно было добывать уже высококачественный лак, целая аллея тунговых деревьев в Чакви ломилась от плодов, из которых на Востоке готовили тушь и олифу для подводных частей кораблей. Выросли леса бамбука, а из него готовили только мебель, забывая, что, начиная с построек и гидротехнических сооружений и кончая последней ложкой и плошкой, все могло быть здесь из бамбука.

Такое равнодушие угнетало ученого. Чтобы популяризовать деятельность ботанического сада, он организует в Петербурге выставку, на которую привозит тропические овощи и фрукты, выращенные в Батумском саду. В многочисленных публичных лекциях знакомит петербургское общество с основными целями своей деятельности в Батуми. Выставка и лекции имели колоссальный успех.

«Ботанический сад — это не только коллекция растений, интересная для ученых, это — источник распространения и место испытания громадного числа растений, могущих быть полезными для народного хозяйства страны», — утверждал А. Н. Краснов.

Из Петербурга Краснов возвращается домой, полный воодушевления. Но здоровье быстро ухудшается, а уговорить его хоть немного поберечь себя не удастся. «Помню тот глубоко радостный и глубоко печальный день, — вспоминает дочь Краснова, — когда отец повез нас в ботанический сад, водил по всем отделам. Некоторые были уже почти в расцвете, другие только в зародыше; растеньица были еще крохотные, для непосвященного глаза была видна только общая архитектура задуманного участка; помню, как отец указывал палкой (при помощи которой ходил): «Вот здесь будет то-то», и лакированная палка вспыхивала на солнце, и он сам казался мне магом. Потом мы пошли дальше по длинной аллее, усаженной маленькими кипарисами, и отец сказал: «Эта аллея к моей могиле, здесь я буду лежать, я не расстанусь с садом!» Это было так неожиданно, так больно, он никогда не говорил об этом, только всегда боялся не успеть закончить сад».

Эти воспоминания относятся к 1913 году. Андрея Николаевича стало мучать предчувствие близкой кончины. Осенью того же года он сказал своему коллеге: «Вы не поверите, как я боюсь, что умру, не успев закончить плана работ в Батумском ботаническом саду. При одной этой мысли мне становится страшно». Не теряя ни одного дня, Краснов еще больше отдается работе.

29 ноября 1914 года на общем собрании Кавказского отделения Российского географического общества ученый выступает с докладом «Батумское побережье как культурный центр влажных субтропических областей в России». Он называет в нем растения и культуры, которые можно использовать без риска: чай, бамбук, мандарины, лимоны, новозеландский лен, бататы, ряд масличных деревьев. «Я глубоко верю, — говорит Андрей Николаевич, — что не пройдет и десяти лет, как наше Батумское побережье станет в Европе как бы живую выставкою природы и культур всех влажных субтропиков. Оно станет предметом удивления и восхищения всех приезжих не только из России, но и из лишенных этой природы стран Западной Европы».

Этот доклад и популярный очерк «Южная Колхида» как бы венчают стройную систему, на разработку которой потрачены многие годы.

Если раньше Краснов только пропагандировал задачу — внедрить в Южной Колхиде субтропические растения, то теперь уже пишет о чайных плантациях, бамбуковых рощах, аллеях тунга в Чакви и ботаническом саду. Андрей Николаевич

16.09.59
312.211.0933

решает отвести в журнале главное место статьям о поведении растений субтропиков в Колхиде, о наиболее рациональных приемах ухода за ними, трудностях, которые возникают при их выращивании, а также о практической пользе от их введения. Он сообщает подписчикам 10 декабря 1914 года, что в будущем — 1915 году редакция предполагает напечатать большие статьи: «Субтропический огород» и «Субтропический сад».

Но этим планам не было суждено сбыться.

12 декабря Андрей Николаевич почувствовал себя плохо. 14 декабря его повезли в тбилисскую больницу. И там он продолжал работать, просматривал корректуру журнала, а за день до смерти развивал перед навестившими его коллегами план постройки физиологической лаборатории и помещения для гербария ботанического сада.

19 декабря 1914 года Андрея Николаевича не стало.

Гроб с телом ученого перевезли, согласно завещанию, в Батумский ботанический сад. Еще при жизни он выбрал место для могилы — высоко над морем, с видом на Чакви и горы, в конце тенистой аллеи, усаженной печальными кипарисовиками Лавсона, у двух увитых лианами одиноко стоящих над обрывом тополей.

«Сделайте от могилы просеку, чтобы мне видна была Чаква с окружающими ее снеговыми горами, кусочком моря, я там впервые начал работу: там тоже осталась частичка моего я... Как красивы эти кактусы на группе камней у склона, они ведь символ смерти! А беседку у бамбука внизу?.. Ведь это символ красоты и легкости жизни... Я люблю море, но боюсь его беспредельности, которую не могу объять. Закройте лианами деревья, чтобы его не было видно», — таково было его последнее желание.

При открытии Батумского ботанического сада в своей вступительной речи А. Н. Краснов сказал: «В глубокой древности смелый аргонавт Язон похитил из Колхиды золотое руно. С тех пор Колхида беднела и влачит жалкое существование... Позвольте выразить пожелание, чтоб золотое руно вернул колхам Батумский ботанический сад, став той рощей царя Аэта, в которой, по преданию, это руно когда-то висело».

Долг и труден был путь ученого к роще царя Аэта, но он создал эту рощу, нашел золотое руно и вручил его Кавказу.

Много венков возложили на могилу «незабвенному певцу Колхиды». Свою страстную любовь к ней Андрей Николаевич пронес до конца жизни. Бродя незадолго до смерти по той же аллее Лавсона, он произнес пророческие слова: «Как мне эти

тополя напоминают меня самого: ведь для Кавказа тополь — растение чуждое, пришлое, так же как и я — пришелец из донских степей. Но эти лианы так сковали эти тополя, что не вырваться им из власти Кавказа. Не находите ли аналогии со мной? Меня тоже сковал Кавказ своими чудными красотоми, я не уйду отсюда...»

Краснов любил грузинскую поэзию и особенно строки «Мерани» Николоза Бараташвили, которого читал в подлиннике.

В своей книге «Натуралист на Кавказе» Андрей Николаевич писал: «Можно сказать смело, что каждый образованный русский человек должен хоть один раз побывать на Кавказе...» Теперь мы вправе добавить к этому: и побродить по аллеям созданного Красновым Батумского ботанического сада, одного из красивейших садов мира.

В ежегоднике «Лес и человек» за 1986 год, в статье «Ботаническое Эльдorado» В. А. Парнеса читаем: «...Идея создания этого фантастического сада — плод многолетних раздумий и наблюдений крупного отечественного ученого, ботаника, географа и путешественника Андрея Николаевича Краснова».

Автору этой статьи посчастливилось побывать в ботанических садах Италии, Франции, Португалии, Северной и Центральной Америки. Батумский не только не меркнет в сравнении с ними, а выделяется, как жемчужина, неповторимая в своей красоте и очаровании... Это воистину поразительный сад. Недаром крупный знаток субтропической растительности профессор В. В. Петров назвал его «ботаническим Эльдorado».

* * *

Со времени основания Батумского ботанического сада прошло уже более 75 лет. 200 тысяч человек ежегодно проходят по аллее кипарисовиков Лавсона к памятнику А. Н. Краснова и отдают дань уважения и благодарности основателю этого сада, ставшего центром распространения субтропических растений сначала в Аджарии, затем по всему Закавказью и даже за его пределами.

Благодаря деятельности сада в производстве стали использовать дубильные акации, эфиромасличные герани, австралийские эвкалипты, камфорный лавр, лимонное сорго, однолетнюю культуру хинного растения, фейхоа, тунг, широко внедрялись в колхозах и совхозах Закавказья прекрасные сорта хурмы, пупочный апельсин Вашингтон-Навель и другие ценные сорта цитрусовых, бамбук...

Субтропические декоративные растения совершенно изменили облик Батуми, да и всего края. Но и сейчас сотрудники Батумского ботанического сада продолжают работать над вопросами озеленения, пополняя ассортимент используемых форм. Колоказия — «хлеб тропиков», гайст — мексиканский огурец, лемонграсс — трава с запахом лимона, бригадал — горький померанец, японский коричник, японский банан и многие другие вечнозеленые деревья и кустарники и травянистые экзоты будут украшать город на Черном море.

Батумский сад занимает сейчас территорию в 111 гектаров и имеет свыше пяти тысяч видов, разновидностей и форм растений, из них две тысячи деревьев и кустарников, не считая роз.

Дело, начатое профессором А. Н. Красновым, нашло своих продолжателей, которые хранят память о подвиге ученого.



...отныне



Борис СВАДКОВСКИЙ

„Как врач, наблюдавший больного...“

В конце сентября 1898 года молодой лекарь из Торжка И. Н. Альтшуллер, страдавший заболеванием легких, «спасаясь от гнилой северной осени», приехал в Ялту. Здесь он познакомился с известным врачом-писателем С. Я. Елпатьевским, который уже несколько лет как переехал в Крым из Нижнего Новгорода и теперь уговаривал коллегу последовать его выбору. Через несколько дней на прогулке в городском саду С. Я. Елпатьевский познакомил его с А. П. Чеховым.

И. Н. Альтшуллер переселился в Ялту. 27 ноября на Речную улицу в дом Иванова, где он жил, принесли письмо. «Милостивый государь! — писал А. П. Чехов. — Не окажете ли любезность посетить меня. Я лежу в постели...». К письму, написанному по-французски, была приписка русским текстом: «Захватите с собой, молодой товарищ, стетоскопчик и лярингоскопчик»¹.

Врач незамедлительно выехал к Антону Павловичу, у которого было очередное легочное кровохарканье. С этого

¹ Чехов А. П., Полн. собр. соч. и писем, М., 1981, том 7, с. 342.

дня А. П. Чехов стал ялтинским пациентом Альтшуллера², занявшего должность заведующего туберкулезным санаторием.

Способный врач, человек по натуре мягкий и общительный, он легко вошел в круг местной интеллигенции. Популярный курорт познакомил его со многими выдающимися представителями русской литературы и искусства.

В начале ноября, рассказывал И. Н. Альтшуллер, к нему обратилась дочь Л. Н. Толстого, Татьяна Львовна. «Но во время визита и потом, когда она заговорила о наших общих знакомых... внимательно всматриваясь в меня своими близорукими глазами, — заметил Исаак Наумович, — я испытал странное чувство, точно меня «изучают», «экзаменуют». И верно, через два дня к нему позвонила С. А. Толстая и пригласила в Гаспру осмотреть Льва Николаевича. Приглашение к Толстому взволновало Альтшуллера, недоумевавшего, почему его, молодого специалиста, а не более опытных и известных ялтинских врачей, предпочли для этого визита.

Закончив прием больных, он поехал к Толстому.

Встречала врача Софья Андреевна. Она провела его наверх, в комнату на втором этаже, к больному.

— Я нашел его не таким, каким представлял, — рассказывал И. Н. Альтшуллер. — В постели лежал дряхлый старичок, беззубый рот, широкий приплюснутый нос, очень высоко посаженные уши, редкая взлохмаченная седая борода, редкие волосы на голове. На этом усталом, очень обыкновенном лице больного старика поразили только пристально уставившиеся на меня глаза, небольшие, под нависшими бровями сидящие, они, казалось, пронизывали вас насквозь. Под этим взглядом, я убежден, говорить неправду, лгать было бесполезно.

Врач расспросил о болезнях — больше говорила Софья Андреевна, Толстой делал лишь отдельные уточнения, — осмотрел Льва Николаевича. Состояние его в Крыму было переменчиво. То появились перебои в сердце, то беспокоили ревматические боли в суставах, по вечерам поднималась температура. И. Н. Альтшуллер назначил активное противомаларийное лечение и предложил курс лечения мышьяком. Толстой тут же отреагировал на последнее назначение:

² Альтшуллер И. Н., Еще о Чехове. Лит. наследство, М., 1960, том 68, с. 681—702.

— А больше вы ничего придумать не можете? — недоброжелательно, даже сердито спросил он.

Исаак Наумович подтвердил свое назначение, что находит его показанным.

— Нет, нет, — категорическим тоном заявил Лев Николаевич, — отравлять себя мышьяком я не позволю.

Врач откланялся.

Провожала его Софья Андреевна. Она пыталась вручить ему конверт, от которого И. Н. Альтшуллер категорически отказался.

— Никто с него не хочет брать за лечение, — сокрушено сказала С. А. Толстая, — даже Захарьин отказался от гонорара.³

Исаак Наумович возвращался в Ялту. Конечно, было приятно сознавать, что сделан визит к Толстому. Но возникший конфликт не оставлял ни малейшего сомнения в том, что его врачебная миссия на этом окончена.

Как рассказывал И. Н. Альтшуллер, через несколько дней после первого визита к Толстому его снова пригласили в Гаспру, на этот раз к Татьяне Львовне.⁴ Закончив осмотр, Исаак Наумович справился о здоровье Льва Николаевича. Ему сказали, что существенных изменений нет, а настроение мрачное.

Исаак Наумович был уже в передней, когда по лестнице со второго этажа быстро спустилась дочь Толстого Александра Львовна, и сказала, что его приглашает Лев Николаевич.

Толстой радушно встретил врача. Подробно расспрашивал о здоровье Татьяны Львовны, а затем поинтересовался:

— А шприцовку вы захватили?

Исаак Наумович понял, что речь идет о шприце (мышьяк следовало вводить подкожно!) и ответил, что нет, сославшись на отказ писателя от лечения.

— А вы должны были настаивать, — упрекнул его Лев Николаевич, — раз вы находите это необходимым... Лучше уж отравлять тело, чем чтобы дух мой отравляли.⁵

³ По свидетельству И. Н. Альтшуллера, позднее С. А. Толстая через него и С. Я. Елпатьевского внесла значительную сумму денег на нужды туберкулезного санатория Ядзлар.

⁴ ГМТ. Ежедневник С. А. Толстой, 1901, 7. II об.

⁵ ЦГАЛИ, фонд 508, оп. 5, ед. хр. 29, л. 6.

На решение Толстого могло повлиять мнение московского врача П. С. Усова. Перед отъездом Толстых в Крым в письме к Софье Андреевне он предлагал, «если граф согласится», провести курс лечения мышьяком, заметив, что «при применении этими растворами мы ни разу не видели никаких неблагоприятных явлений».⁶ Софья Андреевна после визита И. Н. Альтшуллера, возможно, рассказала об этом письме Льву Николаевичу.

Второй визит, по-видимому, относится к 4 ноября, о нем есть запись в ежедневнике С. А. Толстой и в записях врача о лечении писателя⁷, у которого он был и на следующий день, вместе с А. П. Чеховым⁸.

И. Н. Альтшуллер стал крымским врачом Толстого.

Отношения с писателем приняли дружеский, доверительный характер. 6 ноября он писал В. Г. Черткову: «...пишу в постели. Болезнь очей неважная, но неприятная... Ездит очень милый доктор, еврей — один из лучших здесь и неплатный» (88,247). А Софья Андреевна так отзовется об одном из визитов Исаака Наумовича: «Был доктор, который тут его лечит, Альтшуллер... и Лев Николаевич ему верит и слушается его, и даже любит»⁹.

К рекомендованному им режиму Лев Николаевич отнесся снисходительно и страшно удивлялся, когда переутомление или нарушения в питании вызывали обострения его хронических болезней. 6 декабря верхом на лошади он проехал 20 верст, а на следующий день был уже в Ялте, навещая дочь Марию Львовну, которую лечил Исаак Наумович. В гостях разыгрался тяжелый сердечный приступ. По совету И. Н. Альтшуллера Лев Николаевич задержался в Ялте. Исаак Наумович упрекал его, говорил, что надо следовать режиму, что нельзя совершать такие длительные прогулки даже верхом на лошади.

— Но я ведь, — не соглашался Лев Николаевич. — не слезая с лошади, приезжал из Севастополя в эти места и, почти не отдыхая, обратно.

⁶ ГМТ. Письмо П. С. Усова к С. А. Толстой от 2 сентября 1901 года.

⁷ ГМТ. Ежедневник С. А. Толстой, 1901, л. 12, ЦГАЛИ, фонд 508, ед. хр. 30, л. 11.

⁸ Там же. л. 12.

⁹ Толстая С. А. Дневники, М., 1978, том 2, с. 32.

— Когда это было?

— Да в Севастопольскую кампанию, — отвечал Толстой.

Приступ в Ялте был не из легких. «Говорили, что даже доктор испугался, перебои были значительные в сердце»¹⁰.

Через несколько дней Толстой вернулся в Гаспру.

В дневнике за 24 ноября он отметил: «Почти два месяца не писал. Все время нездоров. Даже редко лучше» (54, 113). Теперь Лев Николаевич работал над трактатом «Что такое религия и в чем ее сущность?». Начал письмо к Николаю II, чтобы сказать в нем, что «самодержавие есть форма отжившая», и о необходимости уничтожения «возмутительно несправедливого права земельной собственности» (73, 184—181). И как приятную неожиданность восприняли окружающие, когда Толстой «потребовал давно нетронутую рукопись «Хаджи Мурата» и занялся ею».

Лев Николаевич совершал пешие прогулки и верхом на лошади. Встречался с А. П. Чеховым, А. М. Горьким, принимал посетителей, отвечал на письма своих корреспондентов.

Пришел новый, 1902 год. В первый его день И. Н. Альтшуллер навестил Толстого, его состояние не вызывало никакой тревоги. Но уже со 2 января начались перебои в сердце. В Гаспру приезжали великокняжеский доктор В. А. Тихонов и И. Н. Альтшуллер.

С 15 января наблюдались периодические подъемы температуры и боль в левом боку. Исаак Наумович через день ездил к Толстому, 21 января осматривал писателя вместе с С. Я. Елпатьевским.

23 января состоялся врачебный консилиум, в котором приняли участие вызванные из Петербурга — лейб-медик Л. Б. Бертенсон, из Москвы — В. А. Шуровский и И. Н. Альтшуллер. «Весь день беседы докторов», — записала в ежедневник С. А. Толстая. Лев Николаевич, как рассказывал И. Н. Альтшуллер, «без всякого выражения недовольства подвергался всем продолжительным и утомительным исследованиям». Врачи расценили его состояние «очень хорошим». Были даны самые подробнейшие рекомендации о режиме, пита-

¹⁰ Там же, с. 31.

¹¹ ГМТ. Ежедневник С. А. Толстой, 1902, л. 43.

нии, лекарствах. «Предписания докторов», как их назвала Софья Андреевна, составили семнадцать пунктов¹².

Но события последующих дней оказались непредвиденными даже для такого авторитетного консилиума. На следующий день развился тяжелейший и продолжительный приступ грудной жабы, поднялась температура. Толстой «заболел вдруг, — писал А. П. Чехов, — ...началась грудная жаба, перебои сердечные, тоска, в это время доктора (В. А. Щуровский и И. Н. Альтшуллер — Б. С.), которые лечат его, сидели у меня. Их вызвали по телефону¹³. Он «жестоко страдал, — рассказывал Сергей Львович — слышать его стоны было невыносимо тяжело»¹⁴. И. Н. Альтшуллер облегчил страдания Льва Николаевича, введя ему морфий.

На следующий день был обнаружен левосторонний плеврит, затем воспаление левого, а потом и правого легкого. «Болезнь протекала очень тяжело, — говорил Исаак Наумович, — наш больной не раз был на волоске от смерти».

С. А. Толстая записывала в дневник: «Не знаю, зачем я пишу, это беседа моей души с самой собой. Мой Левочка умирает...»¹⁵. Состояние Льва Николаевича было крайне тяжелым.

Снова вызвали В. А. Щуровского, который задержался в Крыму до 4 февраля и руководил лечением писателя, находясь с Львом Николаевичем, по словам С. А. Толстой, «весь день». И. Н. Альтшуллер, а затем и К. В. Волков приезжали почти ежедневно. Софья Андреевна писала сестре, Т. А. Кузминской: «Доктор у нас московский, лучший, Щуровский. Еще прекрасный, ялтинский, Альтшуллер, и здешний земский доктор Волков. Последние два дежурят через ночь»¹⁶. Ночные дежурства врачи делили на вахты с родными и близкими писателя. «Удивительно как бескорыстны доктора, — свидетельствовала Софья Андреевна, — ...никто не берет денег, а все отдают и время, и труд, и убытки, и бессонные ночи»¹⁷.

¹² Толстая С. А., Дневники, том 2, с. 42—43.

¹³ Чехов А. П., Полн. собр. соч. и писем.

¹⁴ Толстой С. Л., Очерки былого, с. 225.

¹⁵ Толстая С. А., Дневники, том 2, с. 43.

¹⁶ ГМТ. Письмо С. А. Толстой к Т. А. Кузминской от 3 февраля 1902 года.

¹⁷ Толстая С. А., Дневники, том 2, с. 45.

В лечении Толстого, главным образом в ночных дежурствах, принимали участие С. Я. Елпатьевский, врач из Харькова И. М. Сивицкий, ранее бывший врачом Сухотинных; и ссыльный врач А. О. Оганджян. 30 марта в Гаспру приехал первый постоянный домашний врач Толстого Д. В. Никитин.

А. П. Чехов навещал Льва Николаевича, но в эту зиму он чувствовал себя неважно. Когда Антон Павлович узнал, что у Толстого воспаление легких, он «сильно встревожился и постоянно по телефону у врачей спрашивался о его болезни» (С. Л. Толстой).

— Я бы тоже по очереди дежурил у постели, — говорил А. П. Чехов, — ... но я не могу, я сам больной»¹⁸.

После отъезда В. А. Щуровского 4 февраля и кратковременного его пребывания в Гаспре 12—16 февраля роль основного врача писателя выполнял Исаак Наумович.

Врачи неотлучно находились у постели Льва Николаевича. В эти дни дважды, когда Исаак Наумович был в Гаспре, Толстой повторил, видимо, волновавшую его мысль:

— Что для нас болезнь, то для вас хлеб, в смысле хлеба насущного, цели жизни, особенно тогда труд ваш бескорыстный¹⁹.

6 февраля с визитом приехали С. Я. Елпатьевский и И. Н. Альтшуллер. Наступал кризис в течении болезни. «Положение почти, если не сказать — совсем безнадежное, — записывала утром следующего дня в дневник Софья Андреевна. — Пульс... был не слышен, два раза впрыскивали камфору. Ночь без сна, боль в печени, тоска, возбужденное состояние...»²⁰.

Кризис миновал, но Лев Николаевич был очень слаб и сонлив.

Как-то поздним вечером И. Н. Альтшуллер подъезжал к Гаспре. Шел проливной дождь. Вот и дворец графини С. В. Паниной. Кучер покинул козлы, чтобы позвонить привратнику. Неожиданно из темноты появилась фигура урядника.

— Что Вы тут делаете? — спросил врач.

— Как, господин доктор, здоровье графа?

— Гораздо лучше. А почему Вы спрашиваете?

¹⁸ Толстой С. Л. Очерки былого, с. 226.

¹⁹ ЦГАЛИ, фонд 508, оп. 5, ед. хр. 29, л. 12.

²⁰ Толстая С. А., Дневники, том 2, с. 49.

— Так что приказание есть, в случае его смерти немедленно опечатать все бумаги и письма.

В этот вечер Исаак Наумович увозил в Ялту мимо посто-
ронившегося урядника два чемодана с письмами и бумагами Толстого.

Был уже март. Толстой выздоравливал, «постепенно, очень медленно, с колебаниями».

В начале апреля у Льва Николаевича повторился приступ грудной жабы. «...Вскоре, — рассказывал Исаак Наумович, — он стал понемногу ходить, с конца апреля, без палки, стали выводить его на воздух».

И. Н. Альтшуллер был в Москве. Вернувшись в Крым, с восхищением рассказывал, как очарован пением М. А. Олениной-д'Альгем, на концерте которой был. Во время выслушивания легких Толстой сказал:

— Смотрите, когда будете слушать Оленину, не скажите ей, как мне: кашляните разок²¹.

Во время болезни, даже в самые тяжелые периоды, как только состояние Льва Николаевича становилось хоть на самую малость полегче, он тут же приступал к работе.

Но в начале мая новая беда пришла в Гаспру. У Льва Николаевича определили брюшной тиф. И хотя заболевание протекало в легкой форме, но после перенесенного двухстороннего воспаления легких оно представляло немалую угрозу для его жизни. Вновь были организованы врачебные дежурства. Вызванный из Москвы В. А. Щуровский пробыл в Гаспре 11 и 12 мая²². «Совсем наладился Лев Николаевич, — писал И. Н. Альтшуллер, — только к концу мая». Софья Андреевна сообщала в письме к Т. А. Кузминской: «...И доктора здесь просто удивительные. Я лучше никогда не встречала. Внимательные, умные, всю душу кладут, чтобы помочь, и все бескорыстно. Самый умный — это Альтшуллер... И человек он прекрасный, еще молодой, 36 лет, Моск (овского) университета. Он главный, лечит и влияет на Левочку»²³.

26 мая Толстого первый раз после болезни на кресле вывезли на открытый воздух, в парк (54,132). Кресло было куплено еще 12 марта, в Москве. Друг и единомышленник

²¹ Толстой С. Л., Очерки былого, с. 230.

²² GMT. Ежедневник С. А. Толстой, 1902, л. 61.

²³ GMT. Письмо С. А. Толстой к Т. А. Кузминской от 18 мая 1902 года.

писателя А. Н. Дунаев и врач П. С. Усов побывали в магазинах и Шваде, и Маллера, и Сан-Галли, чтобы выбрать лучшее²⁴. В Гаспру кресло привез 20 марта И. Н. Альтшуллер (54,301). Софья Андреевна фотографировала Льва Николаевича в кресле около дворца вместе с врачами. Есть и снимок писателя с Исааком Наумовичем.

Почти девять месяцев наблюдал И. Н. Альтшуллер за здоровьем писателя. В его архиве сохранился дневник болезни Льва Николаевича с 26 января по 12 мая 1902 года. Отдельно записаны сведения о предшествующем состоянии писателя с первой записью от 4 ноября 1901 года. Здесь же приведены данные, без указания имени, относящиеся к осмотрам Татьяны Львовны. Медицинским записям предпосланы следующие слова: «Как врач, наблюдавший больного почти с начала его (Толстого) пребывания в Крыму, считаю своим долгом внести поправки и дополнения в напечатанные сведения о ходе его болезни²⁵. И. Н. Альтшуллер исполнил свой долг, оставив, по существу, историю болезни Толстого.

II

Когда Толстой чувствовал себя лучше, рассказывал И. Н. Альтшуллер, он «охотно говорил о литературе, писателях, часто при этом воодушевлялся, как впрочем и при разговоре о музыке».

Предстояли выборы в Академию наук по отделению изящной словесности. Какому писателю отдать предпочтение и предложить на выборах?

— Очень трудно сказать, — утверждал Лев Николаевич, — что вот этот писатель лучше того: можно сказать, что один человек толще или выше другого, но талант измерить трудно²⁶.

Отзывы Толстого о писателях поражали своей неожиданностью, строгостью критического взгляда.

Толстой не любил, когда у писателя все выдуманно или, как он говорил, автор «врет». И Лев Николаевич давал строгие оценки творчеству и Д. Н. Мамина-Сибиряка, и

²⁴ ГМТ. Письмо А. Н. Дунаева к С. Л. Толстому от 23 марта 1902 года.

²⁵ ЦГАЛИ, Фонд 508, оп. 5, ед. хр. 30, л. 17.

²⁶ ЦГАЛИ, Фонд 508, оп. 5, ед. хр. 29, л. 11 об.

Б. И. Немировича-Данченко, и Л. Н. Андреева, правда, о последнем, когда прочитал «Жили-были» — рассказ, который ему понравился, говорил уже не столь категорически. Н. А. Некрасов и А. К. Толстой, по его мнению, не поэты, а они «только очень любят литературу». От драм А. К. Толстого у него сложилось «впечатление ужасной искусственности».

— Фальшивый писатель, — сказал Толстой о Г. И. Успенском. — Когда я читаю — «такой-то вышел со своим шурином и деверем погулять», — то этот писатель для меня пропал²⁷.

— Печорского считаю знатоком быта старообрядцев, а пишет он, однако: русский не жалеет дерева, он рубит дуб для того, чтобы из него сделать ось или оглоблю! Это уже характеризует.

— Вот замечательный гений, — говорил Лев Николаевич о Ч. Диккенсе, — друг угнетенных, враг роскоши, разврата. Если бы я раньше перечитал его и вспомнил бы суд в «Пиквикском клубе», то сам бы не стал описывать суд, потому что это совершенство²⁸.

Не пощадил Толстой и своего врача-писателя С. Я. Елпатьевского. О его «Воспоминаниях о прошлом» сказал:

— Все это выдуманно: нужно было доказать, что после крепостного права стало лучше, учиться пошли²⁹.

Восхищался «Господами Головлевыми», но считал, что М. Е. Салтыкова-Щедрина «кряду ...читать нельзя»³⁰.

Порой мнения Льва Николаевича изменялись. Сначала принял статью Н. К. Михайловского о религии, даже собирался писать автору о своем впечатлении, а затем разругал.

В Ялту приехал В. Г. Короленко. И. Н. Альтшуллер встретился с ним и о беседе с писателем рассказал Льву Николаевичу.

— Я не люблю Короленко, — сказал Толстой, — он стилист, а я их не люблю.

25 мая Исаак Наумович привез В. Г. Короленко в Гаспру, к Толстому (73, 249), по его словам, они «долго беседовали, часто с глаза на глаз, и оба остались очень довольны друг

²⁷ ЦГАЛИ, Фонд 508, оп. 5, ед. хр. 29, л. 5 об.

²⁸ ЦГАЛИ, Фонд 508, оп. 5, ед. хр. 29, л. 7.

²⁹ ЦГАЛИ, Фонд 508, оп. 5, ед. хр. 29, л. 9.

³⁰ ЦГАЛИ, Фонд 508, оп. 5, ед. хр. 29, л. 5 об.

другом». А через три дня В. Г. Короленко в письме к Ф. Д. Батюшкову сообщал. «Был у Толстого... Очень интересно провели три часа. Тело умирает, а ум горит пламенем»³¹.

22 ноября 1901 года Льва Николаевича посетил К. Д. Бальмонт. Случилось так, что врач и поэт разминулись: И. Н. Альтшуллер ехал к Толстому, а К. Д. Бальмонт в это же время возвращался в Ялту.

— Только что уехал Бальмонт, — сказал ему Лев Николаевич. Боюсь, не обиделся ли на меня. Читал он мне свое стихотворение «Аромат солнца», а я за животик схватился, не мог удержаться, расхохотался, сказал ему, что это нелепость и чепуха. Ведь вот и рифмы, сказал ему, у вас хорошие, и слова, что бы вам и смысла прибавить.

А затем уже сердито:

— Декадентство нужно вон из литературы... Настоящее произведение — это то, которое автор не может не написать, а это все вымучено... Удивительное дело, сколько я ни наблюдал декадентов, все они краснощекие, здоровые, желудок варит отлично, оттого и занимаются глупостями³².

К. Д. Бальмонт не обиделся на прием Льва Николаевича и прислал ему две книги стихов с самоуничижающими надписями: «От безымянного Б», «от ищущего Б». Толстой прочел надписи, рассмеявшись, и внес исправление в свою рукопись, где теперь можно было прочесть: «безвестные Бальмонт и Брюсов».

В Крыму, в Оленизе, что в 1,5 километрах от Гаспры, на даче «Нюра» жил А. М. Горький. То Алексей Максимович навещал Толстого, то Лев Николаевич ходил на прогулку в Олениз. Как-то Толстой прочитал рассказ «Трое» и не одобрил. А однажды сказал:

— В настоящее время на разных попрощах действуют три замечательных человека, вышедших из народа: Горький, Шалапин и священник Петров, впрочем, последний стал портиться³³.

И. Н. Альтшуллер знал Алексея Максимовича, бывал у него на даче, врач встречал с ним новый, 1902 год. Участ-

³¹ Короленко В. Г., Письма, 1888—1921, Петроград, 1922, с. 215.

³² ЦГАЛИ, Фонд 508, оп. 5, ед. хр. 29, л. 6.

³³ ЦГАЛИ, Фонд 508, оп. 5, ед. хр. 29, л. 6 об.

ник этого вечера, друг и единомышленник Льва Николаевича Е. И. Попов рассказывал: «Из Ялты приехал доктор Альтшуллер. Он играл на рояле и пел. Между прочим, он пропел «Восстань пророк, и виждь и внимли!», относя эти слова, очевидно, к Горькому. Но тот не подавал виду, что понимает это»³⁴.

Толстой любил А. П. Чехова, «часто говорил о нем, заботливо справлялся о его здоровье».

— Я живу и наслаждаюсь Чеховым, — говорил Лев Николаевич, — как он все заметит и запомнит, удивительно! И как некоторые вещи глубоки по содержанию! Замечательно, что он никому не подражает, идет своей дорогой. Замечательны лаконичность его языка и выдающийся юмористический талант. Но пьесы его ниже всякой критики. «Трех сестер» не мог дочитать... Драма должна быть драмой, столкновением характеров, кризисом и т. д... У Чехова ничего этого нет. Между тем рассказы его превосходны.

Толстой считал одним из лучших рассказов А. П. Чехова «Душечку», к которому не раз возвращался в своих беседах.

Врач говорил Льву Николаевичу, что А. П. Чехов, живя в Ялте, опасается, что отстанет от жизни. Толстой не разделял этого мнения, а потом сказал, что писатель должен писать только о законченных явлениях жизни, и не следует выводить в своих произведениях писателей, как это делает А. П. Чехов.

— Мы—писатели, — утверждал он, — о писателях всегда будем судить неправильно³⁵.

Исаак Наумович передал это мнение Антону Павловичу.

— Хорошо старику тут не тосковать, — отвечал А. П. Чехов, — водки не пьет, севрюги не ест и колбасы не нюхает, и ничего этого ему не надо. А тем-то у меня и тут хватит на десять писателей и на целую жизнь.

Как-то Толстой рассказывал врачу об английском издатель «Воскресения», который «находит некоторые места в романе безнравственными и вызывающими чувственность».

— Я ответил издателям, — сказал Лев Николаевич, —

³⁴ Попов Е. И., Двадцать лет вблизи Л. Н. Толстого (из воспоминаний). В книге: Л. Н. Толстой и его близкие, М., 1986, с. 212.

³⁵ ЦГАЛИ, Фонд 508, оп. 5, ед. хр. 29, л. 8.

что бог и совесть судят нас за намерения, а не за последствия наших действий³⁶.

Встречи И. Н. Альтшуллера с писателем относятся к тому периоду жизни Льва Николаевича, когда в его отношении к медицине и врачам преобладали не только критические суждения, но был и скептицизм, и даже отрицание. И, как это характерно для Толстого, и здесь было немало противоречивого, парадоксального. Но для И. Н. Альтшуллера оказалось полной неожиданностью, что «как с пациентом, с ним было много легче», чем «со многими обыкновенными больными».

Когда Лев Николаевич бывал бодр, в хорошем настроении, он встречал врача, направляясь к нему быстрой походной, или сидел, положив ногу на ногу. Перед введением лекарства был приветлив и шутил:

— Вы ищете хорошее место для укола, как для пикника.

Как-то И. Н. Альтшуллер собирал мокроту для исследования.

— Вы не найдете там никаких животных, — живо реагировал Толстой на действие врача, — я ведь вегетарианец³⁷.

Исаак Наумович рассказал Толстому о враче-немце, плохо знавшем русский язык. Он писал истории болезни по латыни, и только резюме по-русски. Лечил немец больного с воспалением легких и три дня подряд записывал в резюме: «Лютше», а на четвертый день написал: «Помер». С этого времени, если Толстой говорил И. Н. Альтшуллеру: «Лютше», то врач знал, что Льву Николаевичу действительно лучше или он в хорошем настроении.

Но бывал Толстой и другим, тогда он «сидел в кресле, закутанный в большой шерстяной платок, молчаливый, с мрачным исподлобья взглядом, и вы чувствовали, что ваше присутствие его стесняет».

Льву Николаевичу «часто приходилось бороться с самим собой, со всем тем, от чего он отрекся и от чего освободиться было так трудно и не всегда возможно». Закончив очередной осмотр Льва Николаевича, И. Н. Альтшуллер сказал:

³⁶ ЦГАЛИ, Фонд 508, оп. 5, ед. хр. 29, л. 5.

³⁷ ЦГАЛИ, Фонд 508, оп. 5, ед. хр. 29, л. 12.



3023010033

— Сердце у вас доброе.

— Это я стараюсь, чтобы оно было доброе, — ответила Толстой.

По просьбе Льва Николаевича врач осмотрел молодого человека, последователя Толстого, приехавшего из Казани. У больного оказался туберкулез с резко выраженным общим истощением. Беседу об усиленном питании больной перебил, заявив, что исповедует вегетарианство и ни на какие компромиссы в этом отношении не пойдет. В разговор вмешался Лев Николаевич:

— Есть двоякого рода компромиссы. Во-первых, умственный, когда идеал недоступен, и я умственно устанавливаю для себя равнодействующую, и во-вторых, духовно-нравственный, когда окружающие условия наталкивают меня на эту равнодействующую... Вам надо следовать советам Исаака Наумовича.

Толстой любил подшучивать, подтрунивать и над врачами тоже. Писателя осматривал Л. В. Бертенсон. Среди его рекомендаций было обтирание с добавлением к одеколону немного борной кислоты. После ухода консультанта Лев Николаевич обратился к врачу:

— Как же это вы, Исаак Наумович, не знали про борную кислоту?


Бывали и конфликты. Случай с мышьяком был первый, но не последний.

Как-то в декабре врач узнал, что Лев Николаевич с утра отказался принимать лекарство. Не подействовали и уговоры. Тогда Исаак Наумович налил лекарство и подал его Льву Николаевичу. Тот закрыл глаза (а врач знал, что значит Льву Николаевичу это не по душе), принял лекарство и «сухо, нет, вернее, зло» сказал:

— А это вы сделали для того только, чтобы ознаменовать свой приход³⁸.

Другой эпизод особенно взволновал врача. «В один из самых страшных дней, — рассказывал И. Н. Альтшуллер, — я утром нашел его в очень ненадежном состоянии». Врач осмотрел писателя, сделал назначения, Исаак Наумович часа на три поехал в Ялту. У постели Толстого остался К. В. Волков. Войдя в дом на Речной, И. Н. Альтшуллер узнал, что пока он был в пути, звонил К. В. Волков: «У Льва Николае-

³⁸ ЦГАЛИ, Фонд 508, оп. 5, ед. хр. 29, л. 9 об.



вича начался сильнейший сердечный припадок, положение отчаянное». Исаак Наумович вернулся в Гаспру. Толстой был «в синюхе с еле прощупываемым пульсом, поверхностным дыханием, не реагирующим на окружающее. Похоже было на то, что наступает конец». Врачи сделали все, что было в их силах. Через некоторое время Лев Николаевич открыл глаза, посмотрел на стоящих вокруг его постели и еле слышным голосом сказал:

— И, наверное, вы думаете, что это ваша камфора!

Врачи промолчали. Исаак Наумович, сдерживая эмоции, вышел покурить, оставив около Толстого К. В. Волкова. Короткая прогулка около дома успокоила его.

— Исаак Наумович, — услышал он голос Александры Львовны, — папа вас зовет.

Врач тут же вернулся к Льву Николаевичу. «Он лежал с бледным утомленным лицом, но ясными глазами». Взял руку И. Н. Альтшуллера, долго ее гладил, а затем сказал:

— Простите, я вас обидел и был неправ.

Исаак Наумович попытался успокоить Льва Николаевича.

— Нет, нет, очень был неправ! — повторил он. — В камфору я верю...

И. Н. Альтшуллера, как и других врачей, поражала сила сопротивления организма писателя, которому уже шел 74 год. Было удивительно то, что он редко впадал в бредовые состояния и быстро приходил в себя после забытья, вызванного высокой температурой или тяжелейшим сердечным припадком. И Исаак Наумович говорил о превеликих душевных силах Толстого.

В ту памятную весну 1902 года за его здоровьем следил весь мир. О болезни сообщала и русская, и зарубежная печать. И когда все опасения были уже позади, «Петербургские ведомости» предлагали рубрику «Болезнь гр. Л. Н. Толстого» заменить другой, более страдной, которую с таким напряженным нетерпением ожидали, а именно: «Здоровье гр. Л. Н. Толстого»³⁹. В Гаспру прислали статью из немецкого журнала. Автор без обиняков говорил о том, что Толстой столько писал против врачей, что теперь, когда его жизнь спасена, он

³⁹ Внутренние известия. Ялта (От нашего корреспондента). Петербургские ведомости, 29 апреля 1902 года, № 114. В книге: Интервью и беседы с Львом Толстым. М., 1986, с. 166.

1
216 0353 20
216 0353 20

обязан публично признать ошибочность своих суждений⁴⁰. Лев Николаевич прочитал статью и, смотря на Исаака Наумовича своим пристальным взглядом, ожидал услышать его мнение. А тот молчал и в своих воспоминаниях признался, что ему так хотелось узнать от самого Толстого о том, как он относится к предложению зарубежного корреспондента. Немая сцена так и осталась финалом этого эпизода. А через много лет Исаак Наумович, как он считал, получил ответ на свой вопрос, ознакомившись с письмом Льва Николаевича к дочери.

«Здоровье мое слабо, — писал Толстой в письме к Татьяне Львовне от 15 апреля 1902 года. — Особенно тяжелы мне проводимые надо мной глупые мудрствования и манипуляции врачей, которым я, по слабости и нежеланию огорчить окружающих, покоряюсь...» (73,233).

И, конечно, И. Н. Альтшуллер не раз задавал себе вопрос:

— Почему Толстой вообще лечился, почему он обращался к врачам?

И вот ответ врача:

— Я думаю, что это было не только уступкой окружающим. Здесь было много общего с теми больными, которые критикуют врачей и медицину, пока им хорошо, или лучше; и лечатся, и слушают, когда приходится плохо. Это тесно связано и с отношением Толстого к смерти. Вообще ведь страх смерти, сознание бессмысленности жизни, раз она неизбежно оканчивается смертью, послужили исходным пунктом его религиозно-философских исканий.

И. Н. Альтшуллер был, наверное, один из немногих врачей писателя, искавших ответ на свой вопрос в мировоззрении Толстого, столь непоследовательно и противоречиво толковавшийся им в реальной действительности. И врач вновь обращался к беседам с писателем, который как-то сказал ему:

— Вы рады, что мне лучше. Я рад за вас, но мне жаль, что приходится возвращаться к жизни: это и тяжело, и бессмысленно⁴¹.

Однако через несколько дней Толстой скажет К. В. Волкову:

⁴⁰ ЦГАЛИ, Фонд 508, оп. 5, ед. хр. 29, л. 11 об.

⁴¹ ЦГАЛИ, Фонд 508, оп. 5, ед. хр. 29, л. 10 об.

— Видно, опять жить надо!



В беседах с врачами он ставил перед ними высокие требования. У его постели — И. Н. Альтшуллер и С. Я. Елпатьевский, Толстой говорит:

— Как могут врачи лечить: вино пьют, табак курят, мясо едят... Встанет утром, закурит толстую папиросу, а потом и лечит⁴².

Вспоминал И. Н. Альтшуллер и слова Льва Николаевича, сказанные в трудный период болезни о врачевании как духовной потребности, духовной пищи врача, которая особенно хороша, когда она бескорыстна.

Толстой не был безразличен к тому, как относятся врачи к его религиозно-нравственной вере. Были среди них и его последователи, были — и это не мог не видеть Лев Николаевич — не только равнодушные, но и бескомпромиссные оппоненты, открыто не разделявшие его религиозного мировоззрения. И полный разрыв со знаменитым Г. А. Захарьиным после многолетней дружбы оставил по себе, может быть, наиболее болезненный след.

По окончании очередного визита И. Н. Альтшуллера Лев Николаевич передал ему полученные из Англии от В. Г. Черткова корректурные листы статьи «Что такое религия и в чем ее сущность?».

— Вот, прочитайте, если покажется интересным, — сказал он, — только завтра утром верните, потому что ее нужно отправить.

И. Н. Альтшуллер вернулся в Ялту поздним вечером. «Было еще много всякого дела», пока смог обратиться к статье. Еле одолел начало и вскоре лег спать. Наутро, приехав в Гаспру, возвратил статью.

— Понравилось? — поинтересовался Лев Николаевич. Пришлось сказать правду. Толстой «насупился, ничего не ответив». Дня через два, оставшись вдвоем, они долго беседовали о религии. Но и в Крыму, как и много лет спустя, И. Н. Альтшуллер так и не стал последователем веры Толстого.

Исаак Наумович пишет в своих воспоминаниях о встрече с одним из домашних врачей Толстого Д. П. Маковицким.

⁴² ЦГАЛИ, Фонд 508, оп. 5, ед. хр. 29, л. 5 об.

автором известных Яснополянских записок, летописи последних лет жизни писателя. «Не без некоторого хвастовства» он рассказывал Исааку Наумовичу, как «наловчился записывать слова Толстого незаметно для него, карандашом на блокноте, не вынимая последнего из кармана пиджака». Однако дата и место встречи обоих врачей писателя остаются неизвестными.

IV

27 июня 1902 года Толстые вернулись в Ясную Поляну, и уже на следующий день И. Н. Альтшуллер навестил Льва Николаевича⁴³. «Было очень приятно, — рассказывал Исаак Наумович, — увидеть столь знакомые по описаниям места, где протекала жизнь Льва Николаевича. Л. Н. встретил меня радушно и очень приветливо. Чувствовал себя хорошо и много работал». Это был единственный приезд врача в Ясную Поляну.

В последующие годы Толстой и его семья обращались к И. Н. Альтшуллеру по поводу устройства и лечения в Ялте.

22 мая 1903 года Толстой писал врачу: «Дорогой Исаак Наумович, из прилагаемого письма вы увидите, о чем прошу вас. Если можно, сделайте это... Здоровье мое так хорошо, как может быть хорошо здоровье 75-летнего человека... Лев Толстой» (74,129—130). К письму была приложена записка, в которой сказано: «Прилагаю письмо доктору Ал/ь/тшул/л/еру, кото/рого/ очень прошу помочь вам. Лев Толстой» (74,129). Адресат этой записки неизвестен, но вполне возможно, что обращение к врачу было связано с лечением в Ялте.

Врач не раз бывал свидетелем того, какими неприятными оказывались для Софьи Андреевны многие из толстовцев, навещавших Льва Николаевича. Когда одного из них арестовали за хранение его брошюры, она очень разнервничалась и сказала:

— Еще когда-нибудь и самого арестуют, сошлют.

А сколько волнений пришлось ей пережить, когда Лев Николаевич писал письмо Николаю II, по ее словам, «злое, вздорное, с нелепыми советами».

⁴³ GMT. Ежедневник С. А. Толстой, 1902, л. 70.



«Было тяжело жить, — рассказывал Исаак Наумович, в стеклянном доме, где люди посторонние, друзья-последователи Льва Николаевича, как Буланже, Дунаев, Сергеенко и другие, вмешивались во все семейные дела, всегда почти отстаивая, защищая «интересы» Толстого». «Было тяжело вмешательство детей в отношения родителей, причем и тогда уже часть была на стороне отца, часть на стороне матери. И в Гаспре уже нередко выходило, что ее как бы отстраняли». А что Лев Николаевич? Его отношение к Софье Андреевне «в это время было неровное». Было «и выражение нежной благодарности за ее любовный самоотверженный уход, бессонные ночи, но иногда и трудно скрываемое неудовольствие и как бы с трудом сдерживаемый протест». И «уже тогда нервность» Софьи Андреевны, отмечал врач, «была очень велика: она не всегда сдерживала себя».

Сообщения о последней болезни и смерти Льва Николаевича потрясли врача. «...Толстой, — писал И. Н. Альтшуллер, — вновь лежал с воспалением легких, на этот раз роковым, я мысленно все время был там, в Астапово, живо представляя себе и больного, и всю разыгравшуюся там сложную человеческую трагедию. Но когда пришла весть о его кончине, все это личное, человеческое ушло. Было только сознание, что мир лишился гениального писателя и мудреца».





Елена СЕХНИАШВИЛИ

ТВОРЦУ НЕ БЫВАЕТ ЛЕГКО

БЕСЕДА С КОМПОЗИТОРОМ СУЛХАНОМ ЦИНЦАДЗЕ

За сорок лет своей творческой деятельности Сулханом Цинцадзе создано большое количество сочинений во всех жанрах музыкального искусства. Многие из этих сочинений принесли композитору заслуженный успех. Он — народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии имени Ш. Руставели, премии имени З. Палиашвили; является также Почетным членом Нью-Инглендской музыкальной академии; в течение почти двадцати лет был ректором Тбилисской государственной консерватории, а с 1984 года возглавляет Союз композиторов Грузии.

Человек разносторонних интересов, Сулхан Федорович всегда с радостью делится своими многочисленными творческими идеями, при этом круг обсуждаемых тем бывает весьма обширен. Поэтому, готовясь к этой беседе, я решила ограничиться одной, но достаточно объемной проблемой — процессом композиторского творчества. И тут нельзя не коснуться его «музыкальной биографии».

С. Ц. — Родился я в Гори. Когда мне было пять лет, семья переехала в Тбилиси... Музыкой же начал заниматься совершенно случайно. Нашим соседом оказался известный певец Тбилисского оперного театра Георгий Курхули. Так что я имел

возможность постоянно слышать его пение. Несколько раз Курхули водил меня в оперу. Я сидел за кулисами и оттуда слушал спектакль. Первой оперой в моей жизни была «Кармен» Бизе. Сразу же после представления я начал напевать мелодии из этого сочинения. Потом — «Кето и Котэ». Из этой оперы я тоже запомнил многие отрывки. Поняв, что у меня есть музыкальный слух, Курхули отвел меня к известному виолончелисту, в то время музыканту оперного оркестра Эмилю Капельницкому, который, проверив мой слух, другие музыкальные данные, остался ими очень доволен. Меня сразу же зачислили в 1-ю музыкальную школу в класс виолончели.

Е. С. — Но почему в виолончельный класс? У вас были на то какие-то особые данные — длинные пальцы, хорошая растяжка руки?

С. Ц. — Это была чистая случайность. Поскольку мои музыкальные способности проверял Капельницкий, он, естественно, взял меня в свой класс. До этого я и представления не имел о таком инструменте, как виолончель. Однако очень быстро овладел им — через год уже играл довольно сложные пьесы. В 1937 году состоялась школьная музыкальная олимпиада. Я прошел все полагающиеся туры и играл на заключительном концерте, и, видимо, удачно, потому что получил в подарок часы. Тогда это было огромным событием в моей жизни. Как раз в это время организовывалась группа одаренных детей. Меня в нее зачислили.

Е. С. — Там вы продолжали учиться у Капельницкого?

С. Ц. — Да.

Е. С. — Во время учебы в группе одаренных детей вы только играли на виолончели или предпринимали какие-то попытки сочинять?

С. Ц. — Вначале я только играл.

Е. С. — А желания сочинять не было?

С. Ц. — Было.

Е. С. — И имелись какие-то опыты в этом направлении?

С. Ц. — Да, это были виолончельные пьесы под Поппера и еще кое-какие...

Е. С. — Примерно в каком возрасте вы обнаружили способности к композиции?

С. Ц. — Лет в девять.

Е. С. — Вы показывали кому-нибудь свои сочинения?

С. Ц. — Конечно, Капельницкому.



Е. С. — И как он о них отзывался?

С. Ц. — Ему они нравились, и он поощрял мои опыты.

Е. С. — Как складывалась ваша дальнейшая музыкальная судьба?

С. Ц. — По окончании школы меня без экзаменов зачислили в консерваторию. Во время войны в Тбилисскую консерваторию приехало много профессоров, в их числе был и Е. Гукеров. Он явился одним из инициаторов и организаторов грузинского квартета, который стал функционировать в 1943 году. В этом коллективе я исполнял партию виолончели. Именно тогда и предпринял первые шаги в композиции — сделал обработки для квартета «Давлури» Д. Аракишвили, потом написал вариации на тему «Мзе шина да мзе гарета», которые впоследствии (конечно, в значительно переработанном виде) вошли во Второй квартет. С того времени я уже не мог не писать. Все мои композиционные опыты того периода были неорганизованны, стихийны, но искренни. В 1947 году я написал квартетные миниатюры «Сачидао», «Лале», «Инди-минди».

Е. С. — Тогда же переехали учиться в Москву?

С. Ц. — Да, переехал в Москву и именно в то время произошел факт, сыгравший огромную роль во всей моей жизни, моей композиторской биографии. В 1946 году Комитет по делам искусств Грузии объявил закрытый конкурс на лучший грузинский квартет. Я написал квартет и представил его на конкурс. Первую премию никому не присудили, вторую же получил я. Когда открыли конверт и прочитали мою фамилию, все были искренне удивлены, поскольку как композитора меня тогда никто не знал, да и знать не мог! Вскоре это сочинение в Москве исполнил квартет имени Бетховена. Окрыленный первым успехом, я начал писать Второй квартет. В 1948 году Государственный квартет Грузии исполнил его в Москве, а в 1950 году я получил за него Государственную премию СССР.

Е. С. — Значит, вы написали профессионально зрелое сочинение, еще не имея композиторского образования?! Понятно, что играя на виолончели, вы хорошо знали ее специфику, а играя в квартете, постигли тайну этого музыкального «организма». То есть все ваши композиционные знания проистекали исключительно из собственной исполнительской практики. Какими инструментами, кроме виолончели, вы еще владеете?

С. Ц. — Хорошо я владею лишь виолончелью, однако в

медленном темпе могу все свои сочинения исполнить и на фортепиано.

Е. С. — А занимались ли вы когда-либо пением?

С. Ц. — Нет, никогда. У меня исключительно «композиторский голос». Я могу петь и за сопрано, и за бас.

Е. С. — Когда вы начали профессионально обучаться композиции?

С. Ц. — После получения Государственной премии в Москве просто настояли, чтобы я начал заниматься композицией. К тому времени я был студентом II курса по классу виолончели у С. М. Козолупова. Перейдя на III курс по виолончели, был зачислен на I курс в класс композиции.

Е. С. — Композиции вы учились у С. С. Богатырева. Как протекали ваши занятия?

С. Ц. — Поскольку к тому времени я уже прошел курс гармонии, анализа формы и других музыкально-теоретических дисциплин, то определенный «багаж» у меня имелся. У Богатырева я занимался не только композицией, но проходил и курс полифонии. Богатырев был одним из виднейших советских теоретиков-полифонистов. Весь первый год он заставлял меня писать одни лишь фуги. Сначала я писал в строгом стиле, потом — в свободном. Начал даже нервничать, поскольку времени собственно для композиции у меня не оставалось — я был занят только теоретической стороной дела. Однако в конце года, когда сдал ему 24-ю фугу, он, кое-что там все же исправив, сказал: «А теперь можете писать все наоборот». То, что вначале я делал интуитивно, Богатырев научил меня делать сознательно. Он дал мне крепкий фундамент, выработал во мне основательные профессиональные навыки.

Е. С. — Значит, приверженность к полифоничности мышления проистекает у вас от школы Богатырева, от его метода обучения?


С. Ц. — Конечно. Впоследствии я понял, что без хорошего знания полифонии писать музыку просто невозможно.

Е. С. — Было ли у вас в детстве какое-нибудь музыкальное потрясение, которое запомнилось на всю жизнь?

С. Ц. — В детстве я все воспринимал с восторгом, но чувство, которое можно назвать музыкальным потрясением, испытал значительно позднее. Было это после выступления Джульярдского квартета. Оно было воистину потрясающе!

Е. С. — А что особенно запомнилось из поры учебы в Московской консерватории?

С. Ц. — В первый год моего обучения у С. М. Козолу-



пова. Я написал виолончельный концерт, который Семену Матвеевичу понравился, и он решил, что я должен исполнить это сочинение на классном вечере. Материально мне приходилось тогда очень трудно, жил я в общежитии, и выступать было не в чем: Кто-то одолжил мне свой пиджак, кто-то — брюки. Когда я вышел на сцену, в зале раздался ужасающий хохот. Я очень смутился, решив, что, наверное, не так одет. Начал нервничать. Это отразилось на моем исполнении. В запале играл, как мне потом сказали, очень эмоционально. Лишь после окончания концерта узнал, в чем было дело. Оказывается, когда объявляли мою фамилию (а ее тогда объявляли впервые), в зале вместо Цинцадзе услышали Сен-Санс. «Сен-Санс. Концерт для виолончели. Исполняет автор». Вот тут-то зал и разразился смехом.

Е. С. — Сулхан Федорович, начав сочинять квартет, вы, естественно, писали его на четырехстрочнике. А как обстояло дело с произведениями других жанров — писали прямо партитуру или сначала делали клавир?

С. Ц. — С первого же урока Богатырев старался убедить меня в том, что при сочинении оркестрового произведения сразу же необходима партитура в несколько строк. Само мышление композитора должно быть оркестровым. Если пишешь концерт или симфонию, то надо писать сразу на партитурном листе. Эта привычка у меня постепенно выработалась. Партитуру сейчас пишу в несколько строк. Например, верхняя строка — деревянные духовые, следующая — медные, потом — ударные, струнные и т. д.

Е. С. — То есть каждая строка вмещает в себя одну оркестровую группу.

С. Ц. — Однако это не означает, что в процессе работы я многого не переделываю. Быть может, выбираю иной путь, но первоначальное деление нотного стана на группы бывает у меня всегда, поскольку тембровое ощущение избранного состава присутствует во мне с самого же начала работы над партитурой. Сейчас я это постоянно внушаю своим студентам. Нужно сразу же научиться мыслить тембрально. Самое ужасное, когда музыка пишется абстрактно, и лишь потом начинают думать о ее оркестровке.

Е. С. — Подготовленным слушателем это сразу же ощущается... Сулхан Федорович, как вы работаете — ежедневно в определенное время, с какими-то перерывами, или, что называется, по вдохновению?

С. Ц. — Думаю, что музы как таковой вовсе не существ-

вует. С молодости я привык много работать, поэтому и сейчас работаю много. Конечно, бывают периоды, когда чувствуешь полную опустошенность. Тогда работа не клеится.

Е. С. — Такое состояние совершенно естественно. После окончания работы над каким-либо произведением художник должен быть опустошен, поскольку он, как говорится, выложился.

С. Ц. — Иногда бывает такое состояние, что кажется, будто я не знаю, как пишутся ноты. Если такое состояние начинает затягиваться, у меня есть прекрасное средство избавиться от него. (Этому я тоже учу своих студентов). Я пишу какие-нибудь полифонические упражнения, например, маленькие фугато. Как только начинаю их писать, на меня как будто находит просветление. В молодости у меня перерывы между работой часто бывали длительными, но сейчас я уже не могу себе этого позволить. Ежедневно в 7 часов утра уже сижу в своем кабинете и работаю в течение двух-трех часов непременно. Это не означает, что я обязательно что-то пишу. Иногда слушаю что-нибудь, иногда — анализирую какое-то сочинение. Ведь это тоже своего рода тренаж.

Е. С. — Вы можете работать над несколькими сочинениями параллельно?

С. Ц. — Нет, это делать совершенно не могу. Пока полностью не закончу одно произведение, не могу и думать о чем-то другом.

Е. С. — И вам никогда не приходилось работать таким образом?

С. Ц. — Приходилось, когда был увлечен работой в кино. Но и тогда это было нелегко. Однако с течением времени у меня выработался определенный навык, который заключается в том, что, начиная записывать какие-то свои мысли, я не прерываю их, а записываю сразу же так, какими они приходят. Потом откладываю, некоторое время не прикасаюсь к написанному, а по прошествии определенного времени возвращаюсь к эскизам и начинаю править их так, будто это чужое сочинение. В это время я бываю очень самокритичным.

Е. С. — Сулхан Федорович, как рождается у вас музыкальный замысел, что возникает первоначально — музыкальная тема (мотив, фраза) или общая концепция, основная идея сочинения?

С. Ц. — Без самой музыки у меня ничего не возникает. Появляется музыкальная тема, рождаются музыкальные образы, и, что самое главное, с самого начала работы я тщатель-

но обдумываю форму сочинения. Это не исключает того, что в процессе работы форма может измениться; но вначале всегда, хотя бы приблизительно, знаю, какого объема и что за форма это будет.

Е. С. — Что же является первичным — стремление к новизне формы или определенный материал, диктующий ту или иную музыкальную структуру?

С. Ц. — Размышления о форме всегда дают тот или иной творческий толчок. В то же время о форме нельзя думать, если подсознательно нет каких-то музыкальных образов. Быть может, музыкальная интонация еще не выражена отчетливо, но характер образа непременно должен быть известен.

Е. С. — А как происходит выбор жанра? Я имею в виду лишь «чистую» инструментальную музыку. Когда, на каком этапе работы определяется, будет ли это, скажем, квартет, симфония или концерт?

С. Ц. — Что касается квартета, то он имеет для меня своего рода биографическое значение. Должен пройти определенный отрезок времени, дабы во мне что-то накопилось. «Собрав» какие-то жизненные ощущения, я уже твердо знаю, что это будет именно квартет, а не что-либо иное.

Е. С. — А в случае написания иного инструментального сочинения? Расскажите, пожалуйста, как вы писали свою последнюю, Пятую симфонию.

С. Ц. — Сопоставления длительности моего творческого пути и количества симфонии свидетельствуют о том, что количественная сторона этого жанра меня не интересует. Однако в жизни настает момент, когда мне хочется высказаться именно посредством симфонии, а не как-то иначе. Видно, в жизни творца наступает час, когда нужно пересмотреть пройденный путь. За это время ты что-то приобрел, что-то потерял... Желание написать симфонию возникло у меня давно. Много раз я начинал ее, но работа не шла. Определенный толчок к ее написанию дал мне Десятый квартет.

Е. С. — По концепции эти два сочинения — Пятая симфония и Десятый квартет — похожи. Значит, замысел симфонии существовал у вас до квартета, хотя последний был реализован раньше.

С. Ц. — Замыслы квартета и симфонии возникли в один и тот же период, но квартет был закончен раньше. Вы верно отметили — по своему настроению эти сочинения очень схожи — в обоих случаях это какие-то старые переживания, но решенные по-разному.

Е. С. — Ко времени, когда вы начали работать над симфонией, у вас уже был собран определенный музыкальный материал?

С. Ц. — Я еще не думал о симфонии, когда возникла тема финала. Когда начал ее записывать, сложился и определенный контур части. Тогда и понял, что это не что иное, как финал. Затем начал писать I часть, потом II, III...

Е. С. — Все эти части писали последовательно, или спонтанно возникал материал, который уже впоследствии оформлялся в ту или иную часть?

С. Ц. — Нет, первоначально материал был только для финала, а потом я начал писать все части в их существующем порядке.

Е. С. — А как вы работаете главным образом — пишете все сочинение последовательно или это не имеет для вас значения?

С. Ц. — В основном стараюсь писать последовательно, хотя бывают случаи, когда в ходе работы над I частью у меня уже звучит материал II и даже III частей. Я записываю эти темы, быть может, намечаю их некоторое развитие, но это ничего не означает — пока не закончу работу над I частью полностью хотя бы вчерне, не иду дальше.

Е. С. — Когда начинаете записывать сложившийся в вашем представлении музыкальный материал на бумагу, совпадает ли это полностью с тем, что представляли себе до того; или в этот момент в нем многое меняется?

С. Ц. — Заранее представить себе все детально просто невозможно. Подсознательно ощущаю контуры сочинения. Например, я знал, что I часть симфонии будет основана на варьировании в строгом стиле. Темп будет один; но на его основную тему наслоятся другой интонационный материал. Знал, что буду делать именно это.

Е. С. — К этому времени у вас уже была «заготовлена» музыкальная тема, или для такого типа развития вы искали подходящий музыкальный материал?

С. Ц. — В данном случае нужный материал мне подсказала форма. Я чувствовал, что быстрая тема сюда не подойдет. Раз уж выбрал эту форму, мне требовалась протяжная тема. А на эту протяжную тему должен был наслаиваться материал в более быстром движении.

Е. С. — Таким образом, первичной была форма, для которой и подбирался соответствующий материал... Сулхан Федорович, вы сочиняете за роялем или без него?

С. Ц. — Иногда без рояля, но в основном за инструментом. Со временем у меня выработался навык несколько тем одновременно проводить в сознании. В таких случаях рояль просто бывает не нужен, тогда он даже мешает.

Е. С. — А на какой стадии работы обращение к инструменту бывает необходимым?

С. Ц. — Когда ищу какое-нибудь гармоническое строение или полифоническое развитие материала. Эти звучания обычно нужно проверить на рояле.

Е. С. — Известно, что звучание струнного квартета наиболее любимо вами. Можно даже сказать, что данный тембр отражает вашу психо-физиологию. Есть ли у вас еще какие-нибудь тембровые пристрастия?

С. Ц. — Вы правы — среди ансамблей состав струнного квартета я считаю наиболее оптимальным средством передачи музыкальных мыслей. Очень не люблю трио, квинтет. Среди солирующих инструментов особенно нравится мне тембр валторны.

Е. С. — Сулхан Федорович, начиная с Пятого квартета, в ваших сочинениях часто звучит один мотив — восходящая малая секунда и нисходящая терция. В Девятом квартете именно этот мотив составил основное интонационное зерно сочинения, лег в основу монограммы DSCN. Этот мотив появлялся в ваших квартетах случайно или вы включали его намеренно, как определенную семантическую единицу?

С. Ц. — Я даже не знал, что кроме Девятого, у меня еще где-то есть аналогичный мотив.

Е. С. — И еще один мотив, неоднократно встречающийся в ваших сочинениях — постепенное движение звуков вверх в пределах кварты, так называемые «шаги». Их повторение — тоже неосознанный момент творчества?

С. Ц. — Все это у меня получается, исходя из самой музыки. Это происходит подсознательно. Просто, видимо, это сидит во мне, также как многое из творческого наследия Бартока и Шостаковича. Бывает, напишешь что-то, все как будто хорошо, а потом вдруг чувствуешь, что это уже где-то встречалось. Начинаешь переделывать, все искать заново. Так было у меня со скерцо Пятой симфонии. Написал, послушал и понял, что оно очень напоминает Девятую симфонию Шостаковича. Пришлось многое менять. Такие вещи происходят подсознательно — ведь я не заглядывал в ноты симфоний Шостаковича! Несмотря на то, что у меня другая гармония, иное расположение голосов, структура оказалась очень схожей. Ви-

димо, она настолько прочно сидела во мне, что я ощущал ее как свою собственную.

Е. С. — То есть структура была такой, что создавался аналогичный музыкальный образ!

С. Ц. — Вот именно. Есть, например, такие фактуры, которые, как бы их ни крутить, все равно что-либо напоминают. Скажем, «Танец с саблями». Что бы ты ни сделал другими средствами музыкальной выразительности, его аккомпанемент таков, что все равно будет слышаться Хачатурян. Или кларнетовые секундовые ходы вверх и вниз. Это уже Стравинский. Здесь могут быть совершенно другие звуки, иные лады, но делу это все равно не поможет.

Е. С. — Да, в такие моменты определенная ассоциация и впрямь возникает. В этих случаях критики, дабы не умалить достоинство композитора, часто пишут о цитатах, коллажном принципе мышления, хотя из сказанного вами ясно, что сам композитор совершенно не думал ни о каких интонационных переключках. Привнесение в свою музыкальную ткань чьей-то интонации (я имею в виду интонацию в ее широком понимании) произошло у него подсознательно. Как вы считаете, должен ли композитор тщательно избегать таких моментов?

С. Ц. — Не знаю. Лично я никогда не боялся этого. Совесть моя чиста — я не переписывал ничего, и раз уж это из меня выплеснулось, значит, это и было во мне.

Е. С. — Решив писать какое-либо сочинение, просматриваете ли вы специально лучшие образцы этого жанра?

С. Ц. — Нет, тогда я стараюсь вообще ничего не слушать и ничего не просматривать. У меня такое ухо, что если в него что-нибудь западет, мне трудно бывает от этого избавиться.

Е. С. — Сочиняя произведение, думаете ли вы о конкретном исполнителе?

С. Ц. — В основном, думаю.

Е. С. — Зная адресата, учитываете его определенные исполнительские качества?

С. Ц. — Непременно, так как считаю, что система композитор — исполнитель очень важна. В истории музыки существует множество сочинений, ставших великими именно благодаря исполнителям.

Е. С. — Бывали ли в вашей творческой практике случаи, когда исполнитель подсказывал что-либо существенное?

С. Ц. — Своим исполнением, конечно! Взять хотя бы историю 24 прелюдий для виолончели. Я писал их для Д. Шафрана. Но, к сожалению, он, видимо, не понял это сочинение и

не исполнил его, сославшись на однообразие прелюдий. Этот отказ очень сильно на меня подействовал. Был момент, когда я даже намеревался уничтожить этот цикл. Бывают же дачи! Однако, на мое счастье, за их исполнение взялась Н. Шаховская. Когда она впервые сыграла 8 прелюдий, я не поверил своим ушам. Конечно, это было мое произведение, у меня был именно этот замысел, но о таком исполнении я и не мечтал!

Е. С. — Однако меня интересует иной момент. Бывало ли, чтобы во время репетиций исполнитель предлагал вам лучшее решение какого-то эпизода, интересный музыкальный «ход»?

С. Ц. — Это вполне возможно, но в моей практике такого не случалось. Наоборот, часто исполнители удивляются, поскольку в трудных местах я отмечаю штрихи и выписываю аппликатуру. Поэтому, не говоря о сольных или квартетных сочинениях, в моей оркестровой партитуре в этом отношении ничего не переделывается.

Е. С. — А в вокальной музыке?

С. Ц. — И там у меня не бывало случая, чтобы исполнитель предлагал мне лучшее решение или жаловался на неудобства. Вообще писать для вокала очень трудно, потому что там композитор в значительной степени ограничен, технически скован, поскольку ему следует исходить из определенных голосовых возможностей. У вокальной музыки есть свои правила, которые нужно соблюдать неукоснительно. Например, на высоких нотах не должно быть согласных. или, по крайней мере, их должно быть мало... Все это значительно сковывает композиторскую фантазию.

Е. С. — Но такого рода правила существуют и в инструментальной музыке. Взять хотя бы ограниченный регистровый диапазон любого инструмента. Просто, думается, вокальная музыка не ваша стихия, именно поэтому вы мало работаете в этой области. По типу мышления вы абстрактно мыслящий композитор, поэтому литературный текст вам зачастую даже мешает, именно он сковывает вашу фантазию... Сулхан Федорович, говорят, что муки творчества художники испытывают часто. Какое из произведений далось вам наиболее трудно? Ведь у вас бывали кризисные периоды. Как они проявлялись? Вы испытывали в это время нехватку материала, формы или просто отсутствие конкретной идеи?

С. Ц. — В такие периоды просто не знаешь, над чем работать.

Е. С. — Значит, идеи?!

С. Ц. — По-видимому, потому, что зная, чего хочешь, находишь и форму, и материал.

Е. С. — Какое из своих сочинений вспоминаете, как создававшееся наиболее мучительно?

С. Ц. — Мне трудно выделить какое-то одно. Все сочинения давались нелегко. В творчестве вообще ничего не дается с легкостью.

Е. С. — Значит, вы не пишете, как Моцарт?

С. Ц. — О нет! Моцарт был счастливец!

Е. С. — Вы пишете, как Бетховен?

С. Ц. — Вы называете такие имена...

Е. С. — В данном случае я их назвала как пример полярных методов творческого процесса в музыкальном искусстве... Сулхан Федорович, а как вы можете объяснить чувство творческого счастья? Когда его испытываете — в момент озарения, в процессе работы, когда она окончена, после первого прослушивания или публичного признания?

С. Ц. — Публичное признание — очень важный фактор для композитора. И все же, слушая произведение в первый раз на репетиции, испытываешь особое ощущение. Его нельзя назвать счастьем. Первое прослушивание всегда таит в себе много опасности, поскольку ты уже реально слышишь задуманное тобой звучание. А вот когда твой замысел совпадает с исполнением, тогда это и бывает счастьем!

Е. С. — А в процессе работы, когда, как говорят, дело движется, вы не чувствуете какую-то особую окрыленность?

С. Ц. — Конечно, и это ощущение имеет конкретное выражение — иногда я сижу за работой по пятнадцать часов в сутки, не чувствуя усталости.

Е. С. — Приступая к работе над сочинением, какую первостепенную задачу вы себе ставите? Возникает ли у вас желание поисков новой формы, ставите ли вы перед собой такую цель?

С. Ц. — Непременно. Я стараюсь писать в разных формах. В моих композиционных поисках форма является одним из наиболее важных компонентов.

Е. С. — Проследив ваш творческий путь, можно заключить, что в какой-то конкретный период вы пишете в какой-нибудь определенной форме. Так, например, Восьмой, Девятый квартеты и Четвертая симфония образуют своеобразный триптих вариационной формы, в рамках которой скрыты черты сонатно-симфонического цикла. Десятый квартет и Пятая симфония написаны в традициях сонатно-симфонического цикла,

внутри которого наблюдаются новые взаимосвязи частей. Последние сочинения имеют и схожую программность. Именно эти особенности во многом позволяют говорить об определенном стилистическом единстве произведений того или иного периода творчества... Сулхан Федорович, что вы считаете для себя образцом с точки зрения музыкальной драматургии, кто явился для вас эталоном в этом отношении?

С. Ц. — Мне кажется, что с точки зрения драматургии, Шостакович — высочайший гений. Квартеты Б. Бартока считаю просто чудом. В этом плане очень ценю творчество Чайковского.

Е. С. — Начиная работу над каким-либо сочинением, имеете ли вы в виду какой-нибудь сюжет, фабулу или содержание у вас чисто музыкального порядка?

С. Ц. — Смотря что называть сюжетом. Фабулу, то есть развертывание материала во времени с описанием чего-то конкретного я себе не представляю, но то, что сделал в Десятом квартете и Пятой симфонии — выразил кое-какие воспоминания детства, какие-то свои размышления по этому поводу — такое у меня встречается. Для конкретизации данного замысла в Пятой симфонии специально использовал тему «Сачидао», поскольку она сидит во мне с детства, она живет во мне.

Е. С. — Сулхан Федорович, какие из своих сочинений считаете наиболее удавшимися, где замысел и его реализация полностью совпали?

С. Ц. — Мне кажется, что это Шестой квартет, быть может — Десятый. Во всяком случае, там я сумел реализовать задуманное. Затем 24 прелюдии для виолончели. Сейчас уже закончил работу над циклом скрипичных прелюдий. По-моему, они мне удались.

Е. С. — В 50-е годы вы писали музыку ко многим кинофильмам, драматическим спектаклям, то есть активно работали в области прикладной музыки. Чем привлекал вас этот вид композиторской деятельности?

С. Ц. — Настоящим композитором считаю того, кто может работать в любом жанре, кто одинаково увлеченно пишет и прикладную музыку, и оперу, и симфонию. Композитор непременно должен уметь театрально представлять себе все образы.

Е. С. — А какая разница между работой в области прикладной музыки и автономным творчеством?

С. Ц. — Кино — искусство массовое, поэтому стремишься избегать сложных музыкальных идей, стараешься не ус-

ложнять развитие материала. Но главное — это ритмическая сторона киномузыки. Музыкальный ритм помогает развитию ритма изображения. Только таким образом может создаваться бифункциональность изобразительного и музыкального рядов. Однако наиболее существенное в прикладных жанрах — это умение найти яркий, четкий музыкальный образ!

Е. С. — А почему вы перестали работать в кино?

С. Ц. — Во-первых, был период, когда мне просто некогда было браться за эту работу, во-вторых, к концу 60-х годов многие режиссеры значительно изменили свой подход к музыке — они стали жестко диктовать свои условия. В таком случае работа уже не доставляет удовольствия.

Е. С. — Хотя прогнозы в искусстве маловероятны, хотелось бы услышать, что, по-вашему, будет отличать музыку будущего.

С. Ц. — Пока на Земле существует человечество, думаю, в музыке всегда будет присутствовать мысль. Если мысль потеряется и останется лишь технологическая сторона звукообразований, мы не сможем существовать. Произойдет полная унификация музыкального творчества. Ведь такой период однажды уже был на нашем веку. К счастью, время это прошло, и оно не должно повториться. И еще одно непереносимое условие — если в музыке нет романтического чувства, нет романтического порыва, души, то это уже не музыка. Музыка обязательно должна выражать чувства, эмоции должны в ней присутствовать непременно.

Е. С. — Как бы вы сформулировали ваше творческое кредо.

С. Ц. — Не потерять способность работать.

Е. С. — Это скорее желание, нежели кредо.

С. Ц. — Писать так, чтобы моя музыка была бы понятна как можно большему числу людей!



СОЗДАТЕЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ФОРМ ГРУЗИНСКОГО ШРИФТА

По красоте алфавита
определяют красоту нации.
Анатолий Франс

Этот эпиграф стоит на рукописи трактата о шрифте — фундаментального научного труда Ладо Григолия «Грузинский академический шрифт и система его 396 вариаций», который, как и «Художественные шрифты и способы их создания», вкупе с богатейшей коллекцией таблиц и образцов служит для создания и канонизации современных графических видов грузинского шрифта и обладает непреходящей ценностью.

Их автор — народный художник Грузинской ССР, заслуженный деятель искусств республики, лауреат премии Шота Руставели — более сорока лет преподавал в Тбилисской Академии художеств книжную графику, композицию, плакат, литографию, шрифт. Его произведения в области станковой и книжной графики (портреты, рисунки, скульптуры (раннего периода), блестящие образцы орнамента, плакаты, графика малых форм — экслибрисы, эмблемы, издательские марки) отмечены печатью высокого мастерства.

В этом году Ладо Григолия исполнилось бы 85 лет. Его творчество, как основоположника современной школы грузинского графического искусства многогранно и требует фундаментального анализа. Поэтому коснусь лишь одной его области — законов построения современных форм грузинского графического шрифта. Как известно, канонизация, то есть создание законов построения для всех видов графического шрифта — двухлинейных и четырехлинейных систем (на модульной основе) — в столь всеобъемлющем масштабе до

настоящего времени не имеет аналогов в грузинском искусстве.

Наряду с богатейшей коллекцией оригинальных шрифтовых таблиц художник создал многообразные модификации специально для отдельных изданий, например, таких авторов, как Шота Руставели, Важа Пшавела, Илья Чавчавадзе, Николоз Бараташвили, Константинэ Гамсахурдиа и другие. Так, шрифты, которыми исполнен текст на переплете и титульном листе романа «Давид Агмашенебели» К. Гамсахурдиа, в трех разных изданиях носят совершенно различный характер. Иногда их создатель отработывал и дополнял недостающими буквами отдельные, наиболее характерные шрифты. Так возникли самостоятельные таблицы алфавита, условно названные по наименованию первых изданий: «Акакий», «Бараташвили 1945», «Бараташвили 1968», «Гамсахурдиа», «Энциклопедия» и другие. В архиве автора сохранились подборки целого ряда художественных шрифтов с подсчетом недостающих в них букв алфавита, но, к сожалению, не собранных им в отдельные таблицы.

Красота рисунка каждой буквы, отточенность форм, канонизированность пропорций, гармоничность сочетаний всех элементов, удобочитаемость — все эти главнейшие компоненты и основы основ книги определяют совершенство шрифтов Ладос Григолия.

Но в книжном оформлении графические и метрические качества шрифта нельзя рассматривать изолированно, вне связи с общим замыслом, целостностью решения всех компонентов оформления книги. Вместе с композицией листа, архитектуроникой издания, орнаментикой, рисунком, штрихом шрифт приобретает особое значение. И, видимо, исходя из этого положения, художник почти всегда искал и создавал, строил новый характер шрифта, новую композицию художественных форм в каждом отдельном произведении, над оформлением которого работал.

Графика почти всегда ограничивает черным и белым, конструирует книгу, неразрывно связывая шрифт, орнамент, штрих, белое пространство бумаги.

С какой точки начинается книга?

Важно все, нет маленьких задач! Богатство природы книги, ее поэзию, сюжет, форму, наконец, эпоху — надо решать локально, дать единый, точный, выразительный ответ. Решение задачи принадлежит художнику.

Ладос Григолия прежде всего мастер композиции. Его листы всегда выверены, построены скульптурно, нерушимы и за-

кончены в больших и малых деталях. Невозможно убрать точку, не нанеся ущерба общей гармонии восприятия.

Через «входную дверь» — переплет и титульный лист «дверь» в «глубину покоев» произведения — начинается движение: разглядываешь «карнизы» заставок, широкие проемы шмуцтитолов — «окон». И начинается вторичное прочтение, предполагающее умение видеть по-новому, удивиться, восхищаться...

Трудно выбрать из сложного многопланового творчества Ладо Григолия лучшую книгу, лучшее решение, лучший лист. Но даже один пример выполненного им графического оформления юбилейного семитомного издания сочинений Акакия Церетели (1940-48) дает представление о силе его интерпретирования. Строгая архитектоника черного геометрического фона (ромб, прямоугольник) под жемчужной россыпью тонкой орнаментальной серебрищейся вязи, округлый шрифт, гармонично вписывающийся в богатейшую пластику орнамента, прозрачный ажур буквиц — все вместе это блистательный аккомпанемент поэзии, один из оригинальных и непревзойденных образцов в современном грузинском графическом искусстве.

Художественное оформление двух юбилейных изданий произведений Николоза Бараташвили 1945 и 1968 годов сильно отличается от предыдущих работ графика. Более того, даже два в разное время выполненных издания решены в различном ключе.

Каждому отдельному стихотворению сопутствует свой неповторимый орнаментальный мотив — исполненная языком графики законченная поэтическая строка, требующая внимательного прочтения. Вот заставка и буква к стихотворению «Мерани» в издании 1945 года: поступательный, уходящий в беспредельность и высоту законченный ритмичный элемент орнамента весь в полете, в движении. Вот изящная чаша, виноградная кисть, вьющаяся, певучая ветка к стихотворению «К азарпаше князя Баратаева» или статичная, замкнутая, торжественная, как корона, и колючая, как пика, лавровая ветвь-орнамент к стихотворению «Наполеон». Выразительная графика к стихотворению «Моим друзьям», где прозрачный, нежный, лиричный мотив орнамента заставки перекликается с темпераментным росчерком буквы „ჟ“ — (ჟობჯო), которая ассоциируется с фигурой юноши в вихре лезгинки.

И все же нельзя не пожалеть, что оформление однотомника поэзии Николоза Бараташвили в юбилейном издании 1945 года напечатано блеклым голубым цветом, полиграфически не-

брежно и по качеству печати уступает красоте и силе оригинала, нанося ущерб общему замыслу художника.

К другой такой печальной издержке полиграфии относится удивительная по красоте и завершенности обложка книги Шалвы Дадiani «Юрий Боголюбский» („ჯობაჯობა ბუბო“) 1946 года, где мерцающая, как драгоценность, орнаментальная рама доведена до читателя серым деформированным месивом. Воссоздание графического произведения в печати — искусство, требующее скрупулезной точности и остроты видения. Толщина линии, штриха, сила нажима, цвет, найденные художником в оригинале, при репродуцировании и особенно при большом уменьшении не должны терять свою выразительность, красоту, пластику. Деформирующая рисунок линия «не работает», искажая замысел автора.

Заставки и концовки к одотомнику поэзии Николаза Бараташвили 1968 года построены более сюжетно, с преобладанием элементов иллюстративного характера, сочетающихся с орнаментальными мотивами архитектурных форм.

Одной из значительных работ автора является «Антология грузинской поэзии», изданная дважды на английском языке — в 1948 и 1958 годах. Безукоризненная пластика — богатство, насыщенность орнаментальных композиций, законченность и красота каждого отдельного элемента, созвучность орнамента и шрифта отводят этому оформлению особое место в творчестве художника. Решенные в едином ключе при сохранении общих буквиц-заставок и в целом различны по оформлению, варианты по рисунку, и поэтому воспринимаются как отдельные самостоятельные произведения. Буквицы, собранные в отдельную таблицу, смотрятся как маленькие орнаментальные картины, заключенные в квадрат рамы.

В 1937 году Ладо Григолия провел большую работу по восстановлению погибшего в 1723 году первопечатного издания «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели¹. Как известно, изданная Вахтангом VI поэма была подготовлена по лучшим каллиграфическим рукописям того времени, которые датируются XVI веком и напечатаны специально созданным типографией Новогрузинским (гражданским) шрифтом в две краски. Ладо

¹ В 1936—1937 гг. в связи с 750-летием «Вепхисткаосани» и 250-летием со дня выхода в свет первого печатного издания поэмы было подготовлено под редакцией и под руководством академика Акакия Шанидзе и воспроизведено первопечатное издание 1712 года.

Григолия восстановил «вахтанговский» шрифт, бордюрные знаки, виньетки и другие украшения книги. Позднее, в 1941 году, оформляя 1 том библиографического издания «Грузинская книга», в разделе первопечатных книг типографии Вахтанга VI художник, стремясь подчеркнуть стиль времени, лишь выборочно использовал отдельные орнаментально-шрифтовые элементы книжного убранства, типичного для ранних (типографских) изданий, создавая свой орнаментальный цикл — лаконичный, законченный, несущий современную графическую трактовку, мастерство, пластику. Это — аккомпанемент, оркестровка заданной темы, подчеркивающая богатство звучания, «мелодию» текста.

В дальнейшем ни в одной из последующих работ им не используются эти элементы орнамента.

Попытка некоторых искусствоведов связать творчество Ладо Григолия в основном с изучением древнегрузинского искусства — плохой комплимент художнику. Это удивительное, тонкое «григольевское соавторство», участие в творческом процессе воссоздания в графике темы литературного произведения широко известно среди его коллег и учеников. Каждое его графическое решение, независимо от форм — малых или больших — проходило через многократный поиск, фильтрацию, отбор, что доказывают сохранившиеся в архиве многочисленные эскизы, рисунки, другие материалы. И в любой графической композиции можно всегда прочитывать «соавторство» художника, точно угадывать год и какому произведению посвящена разрабатываемая тема. Строгий и взыскательный мастер требовательно строил свои листы, все мотивы орнаментов и также, как при создании шрифта, неизменно искал новое «слово», новое решение. Его орнамент самобытен, целостен, узнаваем, отмечен почерком Григолия и именно поэтому принадлежит своей эпохе, своему времени, формирующему основы современной школы грузинского искусства советского периода.

Потенциальный поиск новых форм в искусстве, утверждение, развитие — присущи вечному гению народа. И новые поколения определяют для себя преемственность наследуемого им творчества, избирательно утверждая и признавая лишь его главные черты, органично формирующие национальный характер искусства, сферу мышления, стиль времени. Искусственное привязывание памятников старины и образцов древнего искусства к современности неизбежно носит характер эклектичности, почти плагиата и не служит чести вновь создаваемых произведений. Исходя из этого, истинно национальным искусством дол-

но признать творчество художника, несущего новые, опережающие время черты, необходимые будущему поколению так же, как и его современникам. И независимо от того, несет или нет это искусство «узнаваемые» ранее черты, присущие прошлым поколениям, творчество мастера, возвращенного на родной почве, испившего его воду, познавшего его радости и беды, будет выразителем национальной культуры, национального искусства. И чем ярче, чем самобытней художник, тем ближе его творчество народу.

Мы вкратце коснулись сложной и серьезной темы, подробное освещение которой не входит сейчас в наши планы. Но разговор о взаимосвязях между шрифтом и архитектурной графикой книги, неувловимом на первый взгляд дуэте графики с поэзией или прозой литературного произведения нельзя обойти молчанием. И что примечательно — создание присущих будущему форм его искусства выявилось в творчестве Ладо Григолия очень рано, еще в студенческие годы.

Развитие культуры и книгопечатания в тридцатые годы потребовали становления новых, живых, мобильных форм искусства книжной графики. Ладо Григолия еще в студенческие годы начал работать над совершенствованием грузинского шрифта. Вызывает интерес один, казалось бы незначительный на первый взгляд, факт: на факсимильном оригинале таблицы плакатного шрифта, подписанного 1928 годом (и следовательно, исполненного студентом третьего курса!), он дает, наряду с прекрасным художественным решением, полную схему построения плакатного шрифта в трех вариациях с пометкой «На основании законов построения конструированного шрифта». Примечательно также и то, что уже позже, спустя почти сорок лет, взыскательный, зрелый мастер при пересмотре старых архивных работ сделал лишь незначительные карандашные поправки к некоторым (точнее к 16) буквам алфавита этой таблицы, поправки, касающиеся скорее характера написания буквенных знаков, чем их художественной формы.

Кроме того, в настоящее время по сохранившимся в его архиве материалам и документам можно утверждать, что уже к тридцатым годам он в основном разработал строгую, стройную систему построения грузинского конструированного шрифта по чисто геометрическому принципу, ставшую позднее основой богатейшей коллекции новых художественных шрифтовых форм и, в частности, основой академического шрифта и системы его вариации.

В 1931 году после окончания Академии художеств Ладо

Григолия в течение года работал на производстве «Грузинский мрамор» скульптором-конструктором. В его ранней автобиографии записано: «...я проводил испытания различных образцов пород грузинского мрамора, определял степень его пригодности и назначения. Одновременно мне приходилось исполнять скульптурные работы и переводить их в материал (мрамор), что позволило приобрести большой опыт в обработке камня — опыт, подобный которому я не смог бы получить в процессе учебы в Академии художеств. Между прочим, в эти годы я имел возможность работать в области графики — как в Государственном издательстве, так и в других издательствах над художественным оформлением книг и тем улучшить свое трудное экономическое положение. Но сердце тянулось к скульптуре, и я предпочел работу на производстве».

Исполненные по заданию производства скульптуры были приняты на выставки «Ассоциации революционных художников Грузии» — «Сарма» — и положительно оценены в прессе. Кстати, его скульптура «Каменотес» (мрамор, 1930) была в те же годы приобретена Картинной галереей Грузии. К сожалению, сегодня ее местонахождение неизвестно, равно как и нескольких других работ того периода.

«Оторвавшись от производства «Грузинский мрамор», — пишет он далее, — мне уже не удалось создать условия для работы над скульптурой, и я, по приглашению тогдашнего заведующего Палеонтологическим отделом Государственного музея Грузии — Павле Ингорква начал в 1932 году работать художником-графиком в этом же отделе, где у меня возникла возможность полностью ознакомиться с замечательными памятниками грузинской письменности — рукописями, орнаментикой, окладной чеканкой, скульптурой, фресковой живописью, заставками, украшениями («камара») грузинских книг, миниатюрами и историческими памятниками зодчества».

В январе 1933 года Ладос Григолия получил приглашение дирекции Академии художеств вести курс грузинского шрифта на кафедре графики, руководимой известным профессором И. А. Шарлеманем. С этого времени практически и начинается его широкая, плодотворная педагогическая и общественная деятельность, в частности, создание и окончательная разработка законов построения грузинского шрифта, достижение высоких художественных форм в станковой и книжной графике. К этим и последующим годам относятся и прекрасные листы: таблицы художественных шрифтов — «Рукописный шрифт на основе памятников древнегрузинской письменности», «Художественный

шрифт (с вариациями) — контрастный художественный шрифт (с вариациями) — монотонный», плакатные шрифты, несколько таблиц и оригинальные шрифты из книжной графики к произведениям Константина Гамсахурдиа, Вахушти, Сулхан-Саба Орбелиани и других авторов.

Особого внимания заслуживают два обширных орнаментально-шрифтовых оформления юбилейных изданий поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре», исполненные в 1936—1937 годах в соавторстве с Л. Кутателадзе для издательства Тбилисского государственного университета и Детгиза (Москва-Ленинград). Лейтмотивом книжной графики этих изданий стал спиралеобразный орнамент, выполненный в два цвета в красивейших композиционных решениях. Шрифт рукописный, четырехлинейный, в характере древних памятников письменности.

К сожалению, в университетском издании по техническим причинам художественное оформление было воспроизведено с литографских отливок и поэтому существенно отличается от оригиналов.

В заключение хотелось бы привести выдержку из текста «Трактата о шрифте» Ладо Григолия: «Если примем во внимание, что в известных памятниках древнегрузинской письменности отсутствует требование к общим измерителям пропорций, то станет ясным, какая трудная задача была поставлена при создании грузинского печатного шрифта».



СОУЧАСТНИК РОЖДЕНИЯ КНИГ

Когда говоришь об этом человеке, невольно на память приходят слова популярной песни — «Мои года — мое богатство...» И действительно, 90 лет — это феноменально много. А если учесть, что более двух третей из них отданы такому благородному делу, как служение книге, да еще в том ее качестве, когда она способствует сближению духовных культур разных народов, то богатство обладателя этих девяти десятилетий возрастает во сто крат. Общение же с творцами духовных ценностей баснословно приумножает его клад.

Однажды человек, близкий к литературе, с проникновенной исповедальностью признался в том, что быть по роду своей деятельности причастным к духовной жизни своего народа — великое счастье. А что сказать о том, кто по своей профессиональной принадлежности, десятилетия находясь на стыке двух культур, в данном случае грузинской и русской, плодотворно содействует их контакту, взаимообогащению, взаимодействию, взаимопроникновению?.. И делает это с подвижнической преданностью своему призванию, начиная с далеких двадцатых годов, когда впервые ступил на грузинскую землю, и по сей день. Наверное, правомерно признать владельца всех этих сокровищ — Марка Израилевича Златкина — не только одним из наиболее «богатых» хранителей духовных ценностей, но и счастливых наших коллег и земляков...

А посему порадуемся сегодня, в год его девяностолетия, тому, что он, как всегда, бодр, ясно и трезво судит и мыслит о деле своей жизни, отдает ему свой гигантский опыт издателя и литератора, сохраняет живой интерес к тем непростым процессам и проблемам, которые переживает сейчас наша страна на крутом переломе ее политической системы, экономической перестройки, на пути духовного и нравственного оздоровления.

Недавно на вопрос одного интервьюера — как менялся он на протяжении своего долгого жизненного пути, когда многое

изменялось в жизни страны и людей, Марк Израилевич ответил: «Многое менялось, да, но я остаюсь верным себе».

Этот ответ, подтверждаемый всей его жизнью, может служить поучительным уроком и примером для нас того, кто всегда честно, добросовестно, профессионально, изобретательно трудился на своем поприще, что ныне, в пору перестройки, приобретает первостепенное значение.

Верный идее сближения народов через культурные контакты, литературные взаимосвязи, основанные на переводческой деятельности, тридцать один год назад М. И. Златкин был одним из стоящих у истоков «Литературной Грузии», стремясь тем самым расширить ареал выхода грузинской литературы на союзную арену. И с тех пор, с первого дня существования нашего журнала, он является членом его редколлегии, наставником, старшим другом, советчиком, постоянным автором. Именно на страницах «Литературной Грузии» увидели свет фрагменты из его мемуаров, в том числе главы работы «Когда книга сближает народы», суммировавшей многолетний опыт работы в издательстве «Заря Востока», преобразованном затем в «Мерани», по переводу на русский язык классической и современной грузинской литературы. Благодаря этим публикациям читатель узнал, какие имена замечательных грузинских и русских мастеров слова вписаны в биографию Марка Израилевича Златкина. Борис Пастернак, Николай Тихонов, Павел Антокольский, Николай Заболоцкий, Константин Симонов, Галактион Табидзе, Константи́н Гамсахурдиа, Георгий Леонидзе, Симон Чиковани... И это лишь малая толика тех, кто считал его своим другом, подвигнувшим к интернациональному содружеству многих собратьев по перу.

Вот что писал ему, например, Павел Антокольский: «Вы, дорогой Марк Израилевич, в наши дни продолжаете драгоценное дело собирания и увековечения всего сделанного за два века грузинской и русской культурами, дело благородное, не всегда легкое, но Вам оно удастся, как никому».

А академик Авлипий Зурабашвили считает его «почти постоянным соучастником тех огромных переживаний, которые Тициан Табидзе назвал «творческим сорадованием», связанным с рождением книги». Каждая же книга, по словам ученого, «это уже достояние культуры». К этому процессу всю свою долгую жизнь причастен и наш дорогой юбиляр. Ему есть что вспомнить, есть чем гордиться. И в этом тоже его неоценимое духовное богатство.



ТРУДНО ПЕРЕУБЕДИТЬ!

В еженедельном приложении к газете «Труд» — «Ветеран» № 47 — напечатана статья главного маршала артиллерии В. Толубко «Воинскую доблесть — в наследство». В этой в целом, как нам кажется, нужной для патриотического воспитания молодежи статье почему-то взята на прицел Грузия... Оказывается, здесь нет ни одного вуза, где бы готовили специалистов русского языка, а из 1020 тбилисских школ только в восемнадцати изучается русский! Это даже для нас, закаленных сенсационными открытиями, оказалось полной неожиданностью. Как укрыться от столь мощного артиллерийского обстрела? Ради экономии боеприпасов внесем ясность: в Грузии, как доложила об этом партийно-хозяйственному активу республики заместитель министра народного образования Н. В. Гургенидзе, семь вузов готовят специалистов русского языка и литературы. Что касается тбилисских школ (их пока всего 198, а не 1020!), то в грузинских, армянских, азербайджанских школах русский язык и литература изучаются со второго класса, а в 48 русских школах, вероятно, все же — с первого. Впрочем, автор статьи и редакция могут не поверить этим нашим голословным утверждениям, в таком случае мы постараемся подтвердить их документально. Правда, надежда, что нам удастся переубедить их, очень мала, разве только не дадим обещание в остальных, несуществующих 824 тбилисских школах открыть русские классы!

МЫ ЗАЩИЩАЕМСЯ!

Доктор исторических наук, профессор А. Козлов задался благородной целью рассказать о том, «о ком умалчивали биографы Сталина». Цитируем: «Сталин родился в 1879 г. вдалеке от крупных капиталистических центров. Он рос в глухом уголке Грузии, в провинциальном городе Гори, в мещанско-мелкобуржуазной затхлоу атмосфере. Царившие там правила и обычаи были круто замешаны на остатках старины, средневековья... Иосиф дышал весь-

ма специфическим воздухом духовного училища и православной семинарии, в которых учился в 1888—1899 гг.. Некоторые черты характера Сталина — аскетизм, сначала, быть может, по убеждению, а потом по расчету, в показном виде, пренебрежение к людским страданиям и жестокость, беспринципность — могли быть рождены семинарской жизнью» (журн. «Политическое образование», № 16, 1988 г.).

Надо полагать, что биографы умалчивали не о датах рождения и месте учебы, а о характеристике г. Гори и атмосфере, царившей в духовной семинарии, которая, кстати, находилась в Тифлисе, а не в Гори (о чем умалчивает уже сам А. Козлов). Но беда, что находящийся в 80 километрах от Тбилиси Гори уважаемый профессор считает глухим уголком с затхлой мещанско-мелкобуржуазной атмосферой, где нравы и обычаи сродни средневековым. И если это так, то наш историк безусловно прав: Сталин неминуемо должен был переродиться в тирана, тем более, что учился, как видно, в кузнице головорезов — в духовной семинарии, где молодежь обучали не смирению, не любви к ближнему, не милосердию, а жестокости и палачеству!

Мы готовы взять на вооружение новые факты, вскрытые уважаемым профессором, но предварительно хотелось бы спросить у него: как удалось Ломоносову стать Ломоносовым, он ведь тоже родился вдали от капиталистических центров как в смысле расстояния, так и в смысле времени? Или чем объяснить, что родившийся в селе Тквиави того же Горийского уезда пламенный революционер В. Кецохвели так и не стал тираном, хотя тоже учился в духовной семинарии? Может быть, он просто не успел стать им — ведь его убили в 1903 году? Но вот столь же далеко от капиталистических центров и в том же Горийском уезде (с. Вариани) в 1840 году родился Я. С. Гогешвили — будущий гуманист, выдающийся педагог.

И последний вопрос: разве обязательно, изучая феномен Сталина, унижать Грузию, ее культуру, нравы и обычаи?

Нашим недоброжелателям, к которым не хочется относить уважаемого профессора, может показаться, что мы защищаем Сталина.

Нет, мы защищаемся от Сталина!



НОВИНКИ ГРУЗИНСКОГО КИНО

Киностудией «Грузияфильм» сданы уже две картины — «Ашик-Кериб» С. Параджанова и первая полнометражная лента Д. Цинцадзе «Рисованный круг». В разных стадиях технологического процесса находятся фильмы «Вундерланд» О. Коберидзе, «Метичара» Н. Неновой и Г. Цулая, «Хевсурские зарисовки» Г. Чохели, «Преступление свершилось» Н. Мchedлидзе, «Явление» Г. Матарадзе.

Есть и дебюты — так, молодые режиссеры Г. Чкония и О. Литанишвили представят на зрительский суд первые свои работы — «После-

военная история» и «Исполнитель-977».

Идет напряженная работа над фильмами, выход которых запланирован на 1989 год: двухсерийной лентой К. Долидзе «Одинокий охотник», фильмами «Солнце неспящих» Т. Бабулани, «Поклонники Офелии» Б. Чхеидзе. Появился в производстве фильм М. Кобахидзе «Предчувствие», снимается «Ночная сказка» Н. Ахвледиани. Г. Шенгелая совместно с западногерманскими кинематографистами скоро начнет съемки фильма «Хаджи-Мурат». К концу 1988 года зрители увидят девятисерийный фильм Р. Чхеидзе «Дон Кихот».



Содержание журнала „Литературная Грузия“ за 1988 год



041935340
8022010930

Проза

- АНТИДЗЕ Э. Последняя ко-
за. XII, 82.
- БАРАТАШВИЛИ Л., БАРА-
ТАШВИЛИ К. Мы — ме-
схи. VIII, 85; IX, 98; X,
91; XI, 150.
- БЕРОШВИЛИ Л. Рассказы.
IX, 73.
- ГРИГОЛИЯ Г. Дверь. III,
129.
- ДЖАВАХИШВИЛИ Д. Чер-
ный Гоги и Белый Георг-
гий. II, 58.
- ДЖАПАРИДЗЕ Р. Четыре
дня в стране Айоса. II, 7;
III, 3; IV, 3.
- ИНАНИШВИЛИ Р. Расска-
зы. XI, 3.
- КАНДЕЛАКИ Н. Новеллы.
XI, 125.
- КВЛИВИДЗЕ М. Когда не
писались стихи. XII, 5.
- КАРЧХАДЗЕ Д. Мой дядя
Иона. III, 61.
- КОКРАШВИЛИ Б. Расска-
зы. VIII, 71.
- ЛЕОНТЬЕВ В. Хлеб. IX, 87.
- МИШВЕЛАДЗЕ Р. Новел-
лы. VI, 8.
- МОРЧИЛАДЗЕ М. Роковой
круг. VII, 91.
- МРЕВЛИШВИЛИ М. Из
книги «Тбилисские новел-
лы». VII, 65.
- МРЕЛАШВИЛИ Л. На мо-
ре. V, 10.
- ОСИНСКИЙ В. Смех над
бездной. IV, 62.
- РАТИАНИ Д. Рассказы. IV,
136.
- РИЖИНАШВИЛИ У. Рас-
казы. II, 75.
- РОБАКИДЗЕ Г. Джуга, или
По следам Достоевского.
XII, 94.
- САМСОНИЯ А. Дождливый
Мзианети. XII, 32.
- СХИРТЛАДЗЕ Г. Рассказы.
I, 52.
- ТОПУРИДЗЕ Д. Для тех, ко-
го оставил отец. III, 117.
- ХЕЧУАШВИЛИ Г. Черные
телеграммы. V, 92.
- ХОРГУАШВИЛИ Г. Выбор.
VI, 79.
- ЦУЛЕЙСКИРИ Н. Деяния и
мученичество Або и Иоан-
на. VII, 7; VIII, 3; IX, 9;
X, 3.
- ЧАДУНЭЛИ И. Расплата. X,
53; XI, 48.
- ЧЕИШВИЛИ Р. Рассказы.
I, 8.
- ЧОХЕЛИ Г. Бера. XI, 40.
- ЭБАНОИДЗЕ А. Вниз и
вверх. V, 47.
- Ю. МО. Размышление над
неверным шагом. VIII, 77.

Поэзия

- АБАШИДЗЕ И. VII, 3.
- АБАШИДЗЕ Г. II, 3.
- АБРАМИШВИЛИ М. XI,
45.
- АЛХАЗИШВИЛИ Г. III,
112.
- АРЧИЛ II, ВАХТАНГ VI,
ДИМИТРИЙ СААКАДЗЕ.
III, 57.

АСАЕВ Р. IX, 94.
БАДЗАГУА Т. VI, 73.
БЕСИКИ. XI, 39.
БОРИСОВ С. V, 8.
ВАКЕЛИ И. VIII, 83.
ГАГУА Х. VIII, 53.
ГАПРИНДАШВИЛИ В. XII,
3.
ГОНАШВИЛИ М. IX, 69.
ГРАНЕЛИ Т. IV, 56.
ГУРЕШИДЗЕ Н. VI, 3.
ДАНЭЛИЯ Б. XI, 121.
ДЗНЕЛАДЗЕ Г. VII, 65.
ЕРЕМЕНКО В. IV, 149.
ЗАНТАРИЯ В. IV, 145.
ИВАРДАВА Д. XI, 118.
ИКАЕВ В. VI, 77.
КВЛИВИДЗЕ М. I, 45.
КВИЦИНИЯ Н. XII, 29.
КЛДИАШВИЛИ Г. XII, 91.
КОГОШВИЛИ Л. III, 116.
МЕСХИЯ Т. X, 88.
МИНДАДЗЕ Б. X, 83.
НАДИРАДЗЕ К. I, 3.
НАРИМАНИДЗЕ С. II, 54.
НИШНИАНИДЗЕ Ш. IX, 3.
НОЗАДЗЕ Д. V, 91.
ОКРОПИРИДЗЕ С. IX, 96.
РУДОКАС В. XII, 79.
САЯТ-НОВА. II, 50.
СЕРГЕЕВА И. XI, 47.
СТУРУА Л. X, 49.
СУЛАКАУРИ Г. VII, 88.
ЧАРКВИАНИ Д. V, 3.
ЭБАНОИДЗЕ И. V, 9.
ЯКУШЕВА Л. XII, 87.

Наши публикации

ГАПРИНДАШВИЛИ В. Проблема сонета. IV, 198.
ГУМИЛЕВ Н. Стихи. I, 94.
ИМЕДАШВИЛИ К. «Ничего больше не прошу я у Грузии...» II, 115.

РОБАКИДЗЕ Г. Письма. /
Портреты. II, 124.

Критика и литературоведение

АРВЕЛАДЗЕ Б. Наука требует объективности. II, 183.
АСАТИАНИ Г. Ираклий Абашидзе. I, 152.
АХВЕРДЯН Р. Вдохновенный великой поэмой. XII, 123.
БАЕВСКИЙ В. «...Честность приветствовать прежде всего». VII, 144.
БЕНАШВИЛИ Г. Хроники волнующих дней. V, 125.
ГИГИНЕИШВИЛИ М. Святая святых. VIII, 148.
ДЖОХАДЗЕ М. Камушек и скала. X, 126.
ДЫБА Н. Несколько отступлений в прозу Эммануила Фейгина. V, 153.
ЕРЕМЕНКО В. «В непредвзятом зеркале литературы...» VI, 174.
ИМЕДАШВИЛИ К., ПАНДЖИКИДЗЕ Г. Диалог: О «Спирали» и вокруг «Спирали». I, 105.
ИМЕДАШВИЛИ К. Перестройка и грузинская литература. IX, 147.
КИАСАШВИЛИ Н. «Все ужасы и прелести этого испытания». X, 116.
ЛАШКАРАДЗЕ Д. Немецкоязычная литература в Грузии. I, 139.
МОРЧИЛАДЗЕ М., ГИГАШВИЛИ В. Диалог: Строить свой дом. IV, 168.
МУДЖИРИ Н. «Отчужденный индивид». IV, 193.
ПАРШЕНКОВ А. Человек, судьба, вселенная. III, 139.
ПАРУЛАВА Г. Человек в древнегрузинской литературе. V, 142.

СИГУА С. Трансплантация любви. II, 147; Могущество слова. XI, 182.

ТУХАРЕЛИ Д. Тифлис, апрель, 1930 года. III, 160.

ХИНТИВИДЗЕ Э. Элементы средневековой науки в поэме Руставели. V, 137.

ХИХАДЗЕ Л. Гумилев и Кавказ. XII, 111.

ЦХОВРЕБОВ Н. Внушая нам светлые чувства. VI, 159.

ЧЕРЕДНИЧЕНКО В. Сонет-теорема. IV, 204.

ЧОМАХИДЗЕ А. Патриарх грузинской поэзии. VI, 149.

ЧХАИДЗЕ Т. В зеркале жизни. VIII, 133.

ШАРОЕВА Т. Ленин, интеллигенция, революция. IV, 157.

Искусство

АЛЕКСИДЗЕ А. Вид с балкона. IX, 213.

АМИРЭДЖИБИ Н. В поисках потерянного духа. X, 206.

ДЗУЦОВА И. Поэтические родники старого Тбилиси. IX, 209.

ДИВНОГОРЦЕВА - ГРИГОЛИЯ И. Создатель современных форм грузинского шрифта. XII, 207.

ЗУМБАДЗЕ Д. Леонардо да Винчи с автопортрета. V, 201.

КЕССНЕР С. Через искусство — к душе ребенка. VII, 185.

КУНЦЕВ Г. «Там, где вечный дух идальго...» VIII, 187.

СЕХНИАШВИЛИ Е. Творцу не бывает легко. XII, 193.

ТОРАДЗЕ Г. Композитор-новатор. V, 194.

УРУШАДЗЕ П. О судьбе поколений, о судьбе планеты. I, 200.

Документы, письма, воспоминания

БУЯНОВ М. По следам Дюма. IX, 185; X, 187, XI 190.

ДИМИТРИАДИ Н. П. И. Чайковский и грузинская музыкальная культура. VI, 203.

КАНЧАВЕЛИ Н. «От правды... не отступал я никогда». VII, 193.

КАРБЕЛАШВИЛИ Ц. «...Говорю и пишу, что подсаживает мне сердце». XII, 104.

МАРЧЕНКО З. Встречи с Грузией. (Краткая биографическая справка о В. Ф. Шухаевой — Нонны Элизабарашвили). IX, 207.

НЕЙГАУЗ Г. О Борисе Пастернаке. II, 194.

ПЕРОВСКИЙ А. — С. ДОДАШВИЛИ (публикация С. Хуцишвили). VI, 223.

ФИНКЕЛЬЗОРД А. Чарующий звук его виолончели... I, 211.

ЧХЕИДЗЕ А. Еще раз о Пиромани. II, 213.

Рецензии

КОЛЛИ И. Рябина и платан. I, 173.

ПРОСТОСЕРДОВ В. «Незапечатанные письма». VI, 200.

СЕРГЕЕВА Э. Несбывшееся воплотить. IX, 219.

СОЛОЖЕНКИНА С. «Тяжелое блаженство». XI, 221.

СУРОВЦЕВА М. «Солнечные часы». III, 171.

ТУХАРЕЛИ Д. Спаянные узами дружбы. VII, 209.

ФАЛИЛЕЕВА А. «Время и место», IX, 216.

ФИЛИНА М. «Надежды огниво... сумел я сберечь!» X, 215.

ХИХАДЗЕ Л. «...Весь дитя добра и света». I, 167.

Публицистика

ДЖАФАРЛИ Т. «Самый худший наш внутренний враг...» I, 177.

МИМИНОШВИЛИ Р. До взрыва мины. X, 152.

ПАНДЖИКИДЗЕ Г. Без права на ошибку. VII, 116; VIII, 154.

ХАРИТОНОВ В. Сквозь призму эстетических ценностей. VI, 181.

ЧИЛАДЗЕ О. Ради жизни. V, 106.

ШАТБЕРАШВИЛИ П., СУЛАКВЕЛИДЗЕ Л. Сохранить экологическое равновесие! IV, 212.

НАШ ДОЛГ — ВЕРИТЬ И ЛЮБИТЬ. Беседа писателя Гурама Батиашвили с католиком — патриархом Всея Грузии Ильей II. II, 186.

Наука

БАХТАДЗЕ И. Культурологическая концепция И. Чавчавадзе. VI, 193.

ЖОРДАНИЯ Г., ГАМЕЗАРДАШВИЛИ З. Никифор Ирбах — грузинский дипломат. V, 177.

КАЛАНДАДЗЕ Ц. Из истории экспедиции на Кавказ. I, 216.

КОШУТ С. Василий Зуев о Грузии. III, 204.

К 70-летию Советской Армии

ЕСВАНДЖИЯ В. Хижина свободы. II, 180.

Очерк

ХЕРГИАНИ М. Все станет на круги своя. III, 174.

Они приближали победу Октябрь

ЛЕЙБЕРОВ И. Ленинский посланец в Закавказье. III, 188.

Контакты

ДАВЫДОВ И. Торжество красоты. VII, 222.

Из блокнота журналиста

АКОПОВ Г. Странички спортивной летописи. V, 215.

Курьезы, курьезы

Мы недоумеваем. VIII, 222.

Язык и футбол. X, 220.

ЛЕКИШВИЛИ С. Забыли... Руставели? X, 222.

И это называется так просто — «Взгляд!». X, 223.

Трудно переубедить! XII, 217.

Мы защищаемся! XII, 217.

Полемика

МУСХЕЛИШВИЛИ Д., АРВЕЛАДЗЕ Б. «Истина вечна...» X, 138.

Страницы истории

МЕТРЕВЕЛИ Д. Давид Строитель. IX, 173.

Проблемы экологии

ГОГОБЕРИДЗЕ М. След остается на воде. XI, 209.

Поле зрения

В ритме времени. III, 216.
Обозреватель. «О времени и о себе...». V, 210.

Трибуна писателя

БУАЧИДЗЕ Т. Мартовская трагедия 1956 года в Тбилиси. VII, 109

Личность и время

АНДРОНИКАШВИЛИ Б.
Быть самим собой. VII,
165.

АСАТИАНИ Г. Портретные
зарисовки. IX, 167.

БЛАНКОФФ-СКАРР Г. Но-
дар Думбадзе. VII, 157.

ВАЧНАДЗЕ Н. Человек-ле-
генда. Предисловие Дмит-
рия Лихачева, X, 173.

ДЖАПАРИДЗЕ С. «Искус-
ство там, где сердце и ду-
ша». XII, 134.

ЗАЙЦЕВ Н. «Певец Колхи-
ды», XII, 153.

МАЛАЗОНИЯ Н. Забавный
случай. Какая жалость!
VII, 150.

НАЦВЛИШВИЛИ П. По-
следнее интервью. V, 152.

ЦАИШВИЛИ С. Исследо-
ватель истоков. IX, 164.

К 160-летию со дня рождения Л. Н. Толстого

СВАДКОВСКИЙ Б. «Как
врач, наблюдавший боль-
ного...», XII, 174.

НАШИ ЮБИЛЯРЫ. VI, 180.
М. И. Златкину — 90 лет.
Соучастник рождения книги.
XII, 215.

Реплика

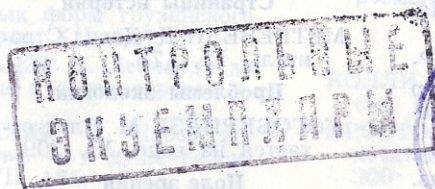
II, 193; VII, 213 — КОРА-
НАШВИЛИ Г. Со стары-
ми ошибками; X, 219 —
Опять об «аджарском, ми-
грельском и сванском на-
родах».

Хроника

I, 51, 25; II, 179, 212; III,
111, 170, 203; IV, 135,
150; V, 46, 90, 161, 176;
VI, 78, 158, 180, 224;
VII, 149, 184, 224; VIII,
224; IX, 93, 224; X, 48,
52, 87, 125, 137; XI, 149,
181, 189; XII, 152, 219

Книжные новинки

III, 224; V, 209; VIII, 76; IX,
8; XI, 44.



Сдано в набор 12.11.88. Подписано к печати 9.12.88 г. Фор-
мат 84×108^{1/32}. УЭ 09042. Высокая печать. Печ. л. 7,0—усл.
печ. л. 11,97. Уч.-изд. л. 14,0. Тираж 5 300. Заказ 2834. Адрес
редакции: 380008, Тбилиси, ул. Ленина, 5. Телефон: 99-06-59.

Главный редактор Роман МИМИНОШВИЛИ

Редакционная коллегия:

Чабуа АМИРЭДЖИБИ, Элисбар АНАНИАШВИЛИ, Реваз АСАЕВ, Хута БЕРУЛАВА, Анаида БЕСТАВАШВИЛИ, Игорь БОГОМОЛОВ, Тенгиз БУАЧИДЗЕ, Хута ГАГУА, Алексей ГОГУА, Эдуард ЕЛИГУЛАШВИЛИ, Марк ЗЛАТКИН, Камилла КОРИНТЭЛИ (ответственный секретарь), Михаил ЛОХВИЦКИЙ, Георгий МАРГВЕЛАШВИЛИ, Сергей СЕРЕБРЯКОВ, Лия СТУРУА, Георгий ЧАРКВИАНИ (заместитель главного редактора), Серги ЧИЛАЯ.

ТЕЛЕФОНЫ: Главный редактор — 93-65-15, заместитель главного редактора — 93-13-57, ответственный секретарь — 93-31-28, приемная — 99-06-59, отделы — 93-31-43 и 93-65-19.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на «Литературную Грузию» обязательна.

ყოველთვიური ლიტერატურულ-მხატვრული და
საზოგადოებრივ-პოლიტიკური ჟურნალი
„ლიტერატურნაია გრუზია“
(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის ორგანო
გამოდის 1957 წლის ივნისიდან

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК КП ГРУЗИИ
Тбилиси, ул. Ленина, 14.

65 კ.

ИНДЕКС 76117



88-813

